

Рафаэлло ДЖОВАНЬОЛИ

МЕССАЛИНА



Серия исторических романов

Рафаэлло Джованьоли
Мессалина (сборник)

«ВЕЧЕ»

1875, 1885

Джованьоли Р.

Мессалина (сборник) / Р. Джованьоли — «ВЕЧЕ», 1875, 1885 — (Серия исторических романов)

ISBN 978-5-9533-5321-2

Перу итальянского писателя Рафаэлло Джованьоли (1838–1915) принадлежит несколько увлекательных романов, посвященных жизни Древнего Рима, среди которых «Мессалина» и «Опимия». Красивая и властолюбивая римская патрицианка Мессалина мечтает стать императрицей. Ради достижения своей цели она готова одарить ласками и молодого воина и старика ростовщика, обратиться к колдунье за зельем, устроить заговор. Ее стихия – интриги и козни, и ей удастся добиться своего, когда жертвой заговора становится жестокий, алчный и безнравственный правитель Гай Цезарь Август Германик по прозвищу Калигула. 216 год до Рождества Христова. Римская республика на грани полного разгрома. Непобедимая армия Ганнибала наносит римским войскам одно поражение за другим. Молодая жрица храма Весты, богини домашнего очага и жертвенного огня, весталка Опимия спасает от казни Луция Кантилия, которому самой судьбой уготовано поставить точку в кровопролитной войне.

ISBN 978-5-9533-5321-2

© Джованьоли Р., 1875, 1885

© ВЕЧЕ, 1875, 1885

Содержание

Об авторе	6
Избранные произведения Р. Джованьоли:	7
Мессалина	8
Глава I. Что происходило в Риме после смерти императора Тиберия Цезаря	8
Глава II. Гай Цезарь Калигула в руках Эннии Невии	19
Глава III. Борьба за консульство	30
Глава IV. В которой появляются Гай Кассий Херея, его сын Луций и Юлия Друзилла	41
Глава V. О веселье и смерти, которые порой приходят одновременно, но выбирают разные дома	52
Глава VI Средство против Цезаря. – Тит Флавий Веспасиан встречается с Локустой	69
Глава VII. Из Байи в Поццуоли. – С богами не шутят!	88
Конец ознакомительного фрагмента.	100

Рафаэлло Джованьоли

Мессалина (сборник)

Знак информационной продукции 12+

© Массур М. Ю., перевод на русский язык, 2011

© Москвин А. Г., перевод на русский язык, 2011

© ООО «Издательство «Вече», 2012

Об авторе

Прославленный итальянский романист Рафаэлло Джованьоли родился в 1838 году в Риме. Получив образование в стенах родного дома, он в 1859 году записался добровольцем в армию Пьемонта, храбро сражался против австрийцев, заслужив офицерский чин. После этого Джованьоли поступил в гарибальдийский корпус, участвовал в освобождении юга Италии от власти чужеземной королевской династии, а также в Итало-австрийской войне 1866 года. Сразу после неудачного похода Гарибальди на Рим в 1867 году Джованьоли оставил армию в чине капитана и занялся литературой.

Первый его роман из современной жизни «Эвелина» (1868) был довольно прохладно встречен читающей публикой. Джованьоли пришлось зарабатывать на жизнь преподаванием литературы во Флоренции и истории в Риме. Последнее занятие натолкнуло его на мысль сменить направление в своем творчестве. Первое же произведение в жанре исторического романа – «Спартак» (1874) – имело огромный успех и принесло писателю широкую популярность. Надо отметить отличное знание автором античных источников. Благодаря этому все реальные персонажи книг Джованьоли выглядят очень реалистично и максимально соответствуют основным характеристикам античных авторов. В наиболее спорных местах писатель не боялся делать ссылки на конкретные классические произведения. Это характерно для всех исторических романов писателя.

«Спартак» был быстро переведен на многие европейские языки, вызвав в дальнейшем немало подражаний, как в литературе, так и в драматургии, музыке и кино. В следующем романе, «Опимия», писатель обратился к очередному драматическому эпизоду римской истории: войне с Карфагеном и походу Ганнибала на Рим.

После первых успехов в историческом жанре все новые попытки писателя на ниве творчества из современной жизни были встречены читающей публикой холодно, и Джованьоли был вынужден вновь вернуться к античной тематике: «Плаутилла», «Сатурнино», «Фаустина», «Социальная война. Аквилония». Эти произведения подготовили новый творческий взлет автора, наиболее ярко проявившийся в романе «Мессалина» (1885), посвященном судьбе одной из самых порочных женщин времен Римской империи.

Последним литературным произведением Джованьоли стали «Рассказы майора Сиджизмондо» (1908), отображающие наиболее яркие эпизоды череды войн за объединение Италии. В 1880-е годы Джованьоли активно занимается журналистикой; он издает газету «Капитан Фракасс», в которой ведет отдел литературной и художественной критики. В конце жизни писатель почувствовал тягу к политической деятельности: его пять раз избирают депутатом Законодательного собрания, но на этом поприще Джованьоли ничем особенным не отличился. Умер писатель в Риме 15 июня 1915 года.

Избранные произведения Р. Джованьоли:

- «Эвелина» (Evelina, 1868)
- «Спартак» (Spartaco, 1874)
- «Опимия» (Opimia, 1875)
- «Плаутилла» (Plautilla, 1878)
- «Сатурнино» (Saturnino, 1879)
- «Фаустина» (Faustina, 1881)
- «Социальная война. Аквилония» (La guerra sociale. Aquilonia, 1884)
- «Бенедикт IX» (Benedetto IX, 1899)
- «Публий Клавдий» (Publio Clodio, 1905)
- «Рассказы майора Сиджизмондо» (I racconti del maggiore Sigismondo, 1908)

Мессалина

Глава I. Что происходило в Риме после смерти императора Тиберия Цезаря

Нескончаемые людские потоки текли по улицам, ведущим к Форуму, к храму Кастора и Поллукса.

Тысячи взволнованных голосов сливались в один невнятный гул, в котором тонули отдельные слова и фразы, вопросы и ответы.

Тысячи лиц объединяло выражение тревог ожидания, смешанного с недоверием к происходящему.

Форум был уже переполнен людьми, в основном мужчинами, хотя не было недостатка и в женщинах и детях. Почти все сустились, отчаянно жестикулировали и толкались. Кто-то старался протиснуться к курии Юлия, кто-то пробирался к базилике Цезаря Диктатора.

А горожане все прибывали, напирая друг на друга со стороны улиц Сакра, Нова, Сарино и других входов на площадь, И с каждым новым приливом этой толпы, беспокойной, как бурлящая весенняя река с ее готовностью выйти из привычного русла, нарастало напряжение собравшихся перед храмом Кастора и Поллукса.

Где двигаться уже не могли, там пробовали заводить разговор:

– Это правда?

– Возможно ли?

– Тиберий умер?

– Тиберий мертв?

– А может быть, это одно из тех мошенничеств, к которым он столько раз прибегал? – нахмурившись, воскликнул старый центурион, судя по знаку – из германских когорт, сухощавый человек лет шестидесяти, с бронзовым, выжженным солнечными лучами лицом.

Глухой рокот прокатился по толпе:

– Кто это?

– Сумасшедший!

– Возмутительно!

– Клеветник!

– Республиканец!

– Доносчик! – взвизгнул толстый парасит в белой тунике, вернее, когда-то белой, до непристойности замусоленной и запачканной, в винных подтеках.

– Эй, ты! – гаркнул в ответ центурион. – Думаешь, если нас разделяет эта толпа евнухов и андрогинов, то я не справлюсь с тобой? Клянусь, следующее слово застрянет у тебя в глотке! Я, римлянин из трибы Эмилия, девятнадцать лет воевал под началом божественного Августа, да еще двадцать три – под руководством его преемников. И я говорю – великий Октавиан не доверял Тиберию Цезарю! Уж он-то не позволил бы гнусному тирану управлять нами в течение двадцати трех лет! О, если бы это лицемерное чудовище обнаружило свое коварство раньше, чем умер Август, – никогда не видеть бы ему империи!

Новый взрыв негодования толпы был ответом на слова центуриона. Парасит же поблел и, начисто потеряв весь свой напор, воздержался от дальнейшей перебранки.

– Говорю вам, не верьте слухам о смерти Тиберия. Вот уже семь лет, как он твердит о своих недугах. Сколько раз он на них ссылался, избегая встречи с римлянами! Вся его жизнь была фарсом. Для других же она до сих пор оборачивалась самой кровавой из трагедий.

Может быть, и теперь он сам распустил домыслы о своей смерти, чтобы узнать истинные настроения патрициев и плебеев, а потом отдать их в руки палачей!

– Если ты говоришь, что не уверен в смерти Тиберия, то ты поступаешь как неблагодарный наглец, хотя слова твои кажутся гордыми и свободными, – заметил сенатор, окруженный толпой плебеев.

– А что мне грозит? – сверкнув глазами, ответил центурион. – Потерять восемь или десять лет мучений, которые сулит старость? Плохое будущее суждено тому, у кого нет ни жены, ни детей, а есть только незаживающие раны, полученные в сражениях, и еще вера в достоинство римлян!

– Да кто этот самолюбивый хвостун? – наконец отважился крикнуть парасит, который к этому времени отошел подальше от чересчур решительного старика.

– Пусть назовет свое имя тот, кто оскорбляет величие императора!

– Пусть назовет!

– Кто он? Пусть назовет свое имя!

И толпа взревела в один голос:

– Пусть назовет свое имя!

– Эй! Подлые рабы! Думаете, все так же трусливы, как вы? Я Корнелий Сабин, плебей из трибы Эмилия, центурион, недавно уволенный из десятого легиона. Знаете, что в него не набирают людей робкого десятка, – недаром это был любимый легион Цезаря!

Вот с какой страстностью обсуждалось событие, которое в короткий срок взбудоражило всех горожан. Кто-то делал вид, что сожалеет о смерти Тиберия, кто-то сомневался в этом известии. Однако и те, и другие больше всего желали, чтобы оно обернулось правдой, хотя почти никто не рисковал открыто высказывать свои мысли, как это сделал старый легионер, центурион Корнелий Сабин.

Шел тринадцатый день после апрельских календ (19 марта) года семьсот девяностого с основания города: миновало два часа пополудни.

С предыдущего вечера по Риму пополз слух о том, что 16 числа этого месяца в Мизене на 68 году жизни и на 23 году обладания высшей властью умер император Тиберий Цезарь.

Всю ночь и все утро 19 числа эта весть обрастала, новыми, порой противоречивыми подробностями.

Одни говорили, что, почувствовав себя плохо, Тиберий стал звать на помощь, но никто не откликнулся – тирана оставили все, даже ближайший его советник, префект претория Невий Сарторий Макрон, и племянник Гай Цезарь Калигула Германик. Добавляли, что, не видя ни рабов, ни либертинов, он сумел подняться и сделать несколько шагов, но тут силы покинули его, и он упал замертво.

Другие утверждали, что Тиберий пожаловался на озноб и это послужило предлогом для Макрона, который набросил на него столько теплых покрывал, что Тиберий задохнулся.

Рассказывали также, что Тиберия отравили, а потом не давали пищи, чтобы голод ускорил действие яда.

Наконец, появился слух, которым делились только с самыми близкими друзьями, да и то под большим секретом. Иной раз можно было услышать, что Тиберий упал в глубокий обморок, который был принят за смерть и позволил Гаю Цезарю завладеть императорским кольцом. А когда Тиберий неожиданно пришел в себя, Макрон испугался мести и задушил его подушкой.

В общем, для оживленных пересудов было немало поводов. Новость повторяли на все лады, и каждый старался прибавить что-нибудь от себя.

Многие могли бы ликовать по случаю этой смерти, одинаково желанной для патрициев и плебеев, для бедных и богатых, для свободных граждан и либертинов. Однако недостоверность слухов и страх перед неизбежной карой, если Тиберий на самом деле остался жив,

удерживали людей от явного проявления радости. Лишь в глубине души каждый человек был готов благодарить богов за смерть ненавистного деспота.

Долгое ожидание собравшихся на Форуме было вознаграждено появлением сенаторов, чьи строгие тоги белым пятном выделялись на фоне пестрой толпы. Отцы города торопливо пробирались к курии; они казались встревоженными и смущенными. С их появлением сомнения многих рассеялись, а эмоции вырвались наружу.

Над Форумом пронеслась весть о том, что Тиберий действительно умер. И красноречивей любых слов был всплеск радости и облегчения, в котором не было даже тени сострадания к умершему.

– Умер! Умер ненавистный тиран! Рухнула империя доносчиков, шпионов и палачей! Римляне, отныне не бойтесь ни ложных доносов, ни бесконечных поборов, ни казней! Теперь можно не притворяться, не льстить, не лицемерить! Прошло время гнусного деспота, его кровавых злодеяний и порочных забав, которым он предавался на Капри! Сегодня можно вздохнуть свободно! Да здравствует Республика!

Собравшиеся посылали проклятия мертвому тирану и с восторгом произносили имя, знакомое всем римлянам.

– Согласно завещанию деспота, – с упоением повторяли они, – вся верховная власть переходит к Гаю Цезарю, сыну Германика! Вот кто возродит Республику! Вот на кого нельзя не надеяться, как невозможно не почитать имени его матери, достойной Агриппины! Вот кто продолжит дело своего великого отца, прославленного победителя варваров!

Некоторые, правда, возражали. До сих пор этот юноша ничем не проявил себя, а то небольшое, что о нем было известно, скорее не позволяло возлагать на него слишком больших надежд. Говоря так, люди припоминали и его угодничество по отношению к Тиберию, и склонность к жестокости, и необузданную похоть. Именно такие сведения о нем приходили с Капри.

Но большинство горожан было готово превозносить Гая уже за одно только имя его отца, популярного в народе. Маловажам отвечали: да, юноша был вынужден притворяться и не обнаруживать истинного характера, чтобы избежать участи, которая постигла весь род Германика. Несомненно, потворствуя низким прихотям тирана, он должен был ненавидеть Тиберия, который оставил без крыши над головой и довел до самоубийства его мать, отправил в ссылку одних его братьев и казнил других... Только нужда могла заставить его делать вид, будто он ничем не отличается от тирана и не имеет призвания к общественным делам. На самом же деле он с детства привык к военным походам; даже это имя, происходящее от слова «калига» – «сапожок», он заслужил из-за привязанности к солдатской одежде. А уж если в войске он пользовался всеобщей любовью, то, почитая его великого отца, разве можно было не верить, что Республика нашла в нем доброго правителя?

Подавляющему числу людей эти доводы казались убедительными, а потому общее настроение Форума было близко к ликованию. И не успели в курии провозгласить решение сената, как тысячи голосов дружно прогремели над площадью и крик этот был слышен далеко за ее пределами:

– Да здравствует император Гай Цезарь Германик! Там же, где преобладали плебеи и бывшие legionеры, к этому приветствию добавилось еще одно:

– Да здравствует император Гай Цезарь Калигула!

Отзвуки этого торжествующего крика доносились и в курию, куда с полчаса тому назад прямо из Мизены прибыл префект претория Невий Сарторий Макрон: он принес весть о смерти Тиберия и завещание императора. Прислушиваясь к шуму толпы, Макрон изучал обстановку в зале.

Там, в глубине, между кармазиновыми и позолоченными ложами, уже больше двух часов переговаривались сенаторы. Многие из них были потрясены случившимся и имели явно растерянный вид. Другие открыто выражали радость.

Еще бы! Вот уже больше шестидесяти лет сенат был лишен реальной власти. Так повелось со времени искусного царедворца Октавиана Августа, который при помощи многочисленных фаворитов умел навязывать сенату свою волю: ведь после формальных обсуждений одобрялось любое его решение!

А за последние двадцать лет, порой из-за уступчивого Сеяна, порой из-за Макрона, замещавшего его по указанию принцепса, собрания некогда могущественного общества и вовсе стали походить на его похороны. Каждый чувствовал, что принадлежит к сброшу рабов, которых позвали хлопать в ладоши при первом слове хозяина. Любая прихоть тирана должна была беспрекословно исполняться. Из-за потакания сената его кровожадности самые именитые граждане, в достоинстве которых никто не сомневался, осуждались как преступники.

Итак, настал день, которого сенаторы ждали двадцать лет! Наконец-то! Прошло время постоянной боязни предательства, рассеялась удушливая атмосфера вечной подозрительности! Как свободно дышится! Как неудержимо течет кровь в жилах, оживляя бледные лица! Словно каждый сбросил маску вечно довольного дурачка Макка, которую нужно было носить двадцать лет! И лица вдруг приобрели человеческие черты, а вместе с ними нашлись слова, способные передать то, что таилось в душах!

Такие чувства переполняли большую часть из четырехсот отцов города, собравшихся в курии.

Сенатор Гней Корнелий Лентул Гетулик, известный как своим одиннадцатилетним консульством, так и поэтическим талантом, громко говорил о необходимости возобновить центуриальные и трибунальные комиции, восстановить исконные права сената.

В другом углу зала пятидесятивосьмилетний консуляр, Марк Юлий Силлан, выступал с призывами не возвращаться к прошлому.

Принцип золотой середины отстаивали Валерий Азиатик, энергичный, крепкий, лет сорока, и Юлий Грек, сорокашестилетний автор признанного труда о сельском хозяйстве. Их слушатели одобрительно кивали. Отдельно от всех стояли два сенатора, еще не пришедшие к какому-либо мнению.

Сорокашестилетний патриций Сервий Сульпиций Галь-ба, потомок одного из самых древних римских родов, пользовался уважением как способный военачальник, четыре года занимавший должность консула. Он был подтянут, даже сухощав. Рано облысевшую голову обрамляли редкие белокурые волосы. Его горбоносый, резко очерченный профиль обладал какой-то своенравной неопределенностью, но голубые глаза смотрели открыто и просто-душно.

Фаворит Ливии Августы, он должен был получить от нее наследство в шесть миллионов сестерциев. Однако в завещании эта сумма была указана не прописью, а цифрами, и беззастенчивый тиран уменьшил ее ровно в сто раз. Начавшаяся тяжба затянулась, и в конце концов Тиберий вообще не стал платить денег, попросту присвоив их.

Гальба тяжело переживал эту несправедливость, но иногда находил утешение в мысли о гораздо большем наследстве, возможно, причитавшемся ему. Однажды в детстве он услышал от гадалки, что когда-нибудь станет императором, и теперь, никому не доверяя своих мыслей, любил порассуждать о сбывшихся пророчествах.

Вообще же, благоразумный от природы, он предпочитал меньше говорить и больше слушать. Может быть, именно эта склонность натуры принесла ему успех в сенате, где умение молчать порой ценилось выше, чем самое искусное красноречие.

Второй из двух сенаторов, казалось, ждал только подходящего момента, чтобы присоединиться к небольшой группе отцов города, нетерпеливо поглядывавших на него.

Его круглая, покрытая смолянисто-черной шевелюрой голова сидела на толстой, почти воловьей шее. Свисающие складчатые щеки образовали тяжелые мешки вокруг выпяченных губ и тяжелого подбородка. Черные мрачные глаза и большой нос, своим изгибом напоминавший орлиный клюв, заставляли предположить в этом человеке характер властный и жестокий.

Это был Луций Вителий Непот, потомок старинного рода Вителиев, военачальник, успевший сменить должности эдила курии, претора и консула. Одержав победу на Евфрате, он теперь намеревался заняться общественными делами, для чего на три месяца оставил командование армией.

Это он после загадочной смерти Германика, ревностным сторонником которого являлся, публично обвинил Пизона в отравлении своего любимца и преследовал до тех пор, пока тот не покончил жизнь самоубийством.

При Тиберии он впал за это в немилость и был вынужден скрывать свои истинные намерения и мысли: лишь благодаря удачным военным действиям в Сирии он избежал расправы со стороны могущественного каприйского отшельника.

Сейчас он стоял в задумчивой позе, прислушиваясь к различным мнениям и решая, какое ему наиболее выгодно.

И вот, когда страсти накалились, а спорящие еще не утвердились ни в одном решении, в курию вошел Невий Сарторий Макрон, сопровождаемый двумя десятками верных ему сенаторов. Ему было уже сорок пять лет, суровые черты его как бы застывшего лица и подтянутая, мускулистая фигура говорили о привычке к дисциплине, слепом повиновении начальнику и абсолютной власти над подчиненными.

Шесть лет он был послушным исполнителем желаний Тиберия, а с другой стороны – требовательным предводителем преторианских гвардейцев.

И тем не менее этот служака уступил требованиям своей жены, Эннии Невии, состоявшей в адюльтере с Калигулой, и открыто поддержал стремление Гая Цезаря к верховной власти, чем в первый раз нарушил волю бывшего императора.

Сразу после кончины деспота он покинул Мизены, взял с собой завешание и два экземпляра золотых свитков, где говорилось о знатном происхождении сына Ливии. Прибыв в Рим глубокой ночью, он тотчас отправился в казармы преторианцев, где при свете факелов собрал трибунов и центурионов, призвав их не забывать о сыне доблестного Германика, префект претория от его имени попросил поддержки и обещал каждому по двести сестерциев в случае успеха. Кроме того, он заручился помощью префекта вигилий, многих сенаторов и всадников, с которыми был дружен. Он же подкупил и часть плебеев, наутро приветствовавших Гая Цезаря.

– Макрон! Макрон! – оборачиваясь, перешептывались собравшиеся.

– Сальве, Макрон! Сальве, Макрон!

– Сальве, Невий! Сальве, Невий!

К нему протягивали руки, прикасались к одежде, похлопывали по плечу. Кто-то сокрушался о смерти Тиберия, кто-то справлялся о подробностях кончины, кто-то вспоминал заслуги покойного – и все дружно восхваляли Макрона, всегда справедливого, всегда преданного принцепсу и закону.

– Как же восстановить древние законы в этом городе, – жест презрения вырвался у Валерия Азиатика, демонстративно повернувшегося к Лентулу Гетулику, – в этом городе, погрязшем в невежестве и пороке? Взгляни, Лентул, на этих отцов города, блеск и гордость всего Рима!

– Не совет римских сенаторов, а сборище бессовестных паразитов и низких льстецов! – с отвращением бросил Гней Корнелий Лентул Гетулик, наблюдавший за подобоострастной суетой вокруг вошедшего.

При этих словах маленькие черные глазки Макрона злобно сверкнули. Однако, справившись с собой, он сделал вид, что не расслышал оскорбления.

– Хватит болтать! – крикнул он хрипло. – Я привез завещание Тиберия Августа и призываю принцепса сената зачитать его!

Тотчас воцарилась тишина. Одного имени мертвого тирана было достаточно, чтобы каждый осекся на полуслове, вспомнив о страхе, накопившемся за двадцать лет.

От этого оцепенения первым оправился Луций Вителлий Непот; он уверенно приблизился к Макрону и произнес:

– Приветствую тебя, благороднейший Макрон, и да будет прославлено на небесах величие Тиберия Августа, завещание которого клянусь прочесть и исполнить, даже если оно требует моей немедленной смерти.

Он пожал руку Макрона и сразу же выпустил ее, чтобы в знак особого уважения к нему прикоснуться к собственным губам и ко лбу; затем, взглянув в сторону Валерия Азиатика, он переменял тон:

– Видят боги, даже шуту Мнестеру далеко до иных сенаторов!

Однако Макрон, словно не заметив ни явного заискивания, ни того, что принцепс сената готов был приступить к ведению собрания, поднялся на одну из самых высоких трибун и обратился к присутствующим с речью памяти Тиберия, которая скорее напоминала похвалу Гаю Цезарю, сына Германика. Закончив ее и по-прежнему не обращая внимания на аплодисменты, он распахнул свою пепельную тогу, под которой тускло блеснули звенья кольчуги, и достал завещание мертвого императора: рукоплескания тут же сменились лицемерными вздохами большинства сенаторов.

Согласно завещанию, тиран назначил равные права престолонаследия Гаю Калигуле Германику и Тиберию Гемелу, отец которого, Друз, был отравлен ближайшим другом императора Сеяном.

Наступила минута замешательства. Страх перед именем Тиберия, который только что заставил сенаторов восхвалять его, тот же самый страх теперь предостерегал их от власти слишком близкого родственника тирана. Колебания усиливались из-за выступления претекста претории, явно противившегося утверждению Гемела в качестве императора.

Первым взял слово Виталий и стал превозносить достоинства Калигулы.

К нему присоединился Сервий Сульпиций Гальба, за которым последовали оба консула, избранные на этот год, – Гней Ацерроний Прокул и Гай Петроний Негрин Понтийский, консуляры Секст Папиний Гальбан, Гай Цестий Галл, Марк Сервилий Гепин и многие другие сенаторы.

Против были только Марк Юлий Силлан, Лентул Гетулик, Валерий Азиатик, Марк Анний Минуциан и несколько их сторонников, которые – во имя народа и сената – оспаривали право избирать верховную власть по произволу отцов города. Однако их выступления, беспорядочные и нерешительные, только внесли сумятицу в обсуждение. Начались шум и неразбериха.

Тогда прозвучал громкий голос Валерия Азиатика:

– Нашего согласия вы не получите! Мы против этого!

– А мы за! Мы за! За! – орал сотни глоток.

– Против! Против! – пытались перекричать их десятки других.

– Кому нужно ваше согласие? – рявкнул Невий Макрон.

– Нас большинство! – подхватил консул Гней Ацерроний Прокул.

– Нас в четырнадцать раз больше! – по-бычьему промычал Луций Вителлий.

В эту минуту рев толпы, доносившийся с Форума, усилился настолько, что заглушил голоса сенаторов.

– Народ, преданный памяти божественного Гераника, единодушно провозглашает императором его доблестного сына, Гая Цезаря! – собрав все силы легких, крикнул Невий Макрон.

– Вот почему мы поддерживаем божественного Гая Цезаря Калигулу, – проревел Вителий.

– Да здравствует император Гай Цезарь Калигула! – стали скандировать четыре сотни отцов города, вторя приветствию толпы, которое звучало все настойчивей.

– Народ желает Гая Цезаря, – надрываясь, снова перекричал всех Макрон, – и если в сенате не хватит нескольких голосов, то, клянусь, их заменят десять тысяч гвардейцев претория!

Слова префекта преторианцев вызвали целый шквал одобрительных аплодисментов.

В тот же миг с треском распахнулись ворота курии, не выдержавшие натиска плебеев, и в зал повалили сотни горожан, иступленно призывавших избрать императором Гая Калигулу.

Толпа в туниках встретила толпу в тогах; те и другие рукоплескали сыну Германика.

Вскоре курия перестала напоминать даже видимость собрания, а огромный город стал праздновать провозглашение императором Гая Цезаря Калигулы, сына Германика.

Среди множества людей, наблюдавших за праздником со ступеней базилики Порция, обращала на себя внимание молодая дама, окруженная пятью слугами. Ей было лет двадцать. Несмотря на то, что роста она была среднего, широка в плечах и полногрудая, дама казалась стройной благодаря тонкой талии и правильным пропорциям тела. Взгляды мужчин притягивало ее удивительно красивое лицо: у нее были огромные черные глаза, правильный прямой нос, большой рот с немного припухлыми губами, верхняя из которых слегка отгонялась нежным пушком над ней, маленький круглый подбородок с небольшой ямочкой; две точно такие же ямочки появлялись на глянцево-белых щеках, когда она улыбалась. Ее высокий лоб казался довольно низким из-за того, что его наполовину скрывала густая челка иссиня-черных волос.

Хотя дама была одета в дорогую тунику из тончайшего, шитого золотом сирийского льна цвета морской волны, – покроем которой почти обнажал грудь, и, хотя мочки ее ушей были украшены крупными изумрудами, а шея – изящным золотым ожерельем с жемчугом, все же по сравнению со многими другими дамами, носившими куда более дорогие наряды, она выглядела если не бедной, то привычной к скромной простоте.

Позади нее в позе, выражающей не только почтение, но и обожание застыл евнух-эфиоп. В руках у него был шелковый зонтик, защищавший ее от солнца.

Еще дальше находились антеамбул, номенклатор и два сопровождающих. Ниже на лестнице замерли четверо крепких рабов-далматов. Они держали носилки и готовы были отправиться в путь по первому знаку госпожи.

Слева от нее стоял высокий и тучный мужчина лет сорока шести. Его большая голова производила то впечатление благородства, которое создается благодаря правильным чертам и одухотворенному выражению лица.

Широкий, великолепно вылепленный лоб этого человека обрамляла густая шевелюра, длинный прямой нос был слегка заострен книзу, щеки лоснились, так же как и маленький, мягко очерченный рот, под которым свисал двойной подбородок.

Словом, у него была внешность благополучного обывателя, любителя тишины и обильной пищи; если бы не напряженный блеск его глаз, в этом человеке можно было бы предположить добродушный и самодовольный характер.

В его одежде была заметна некоторая небрежность, хотя, судя по зауженной тоге, он принадлежал к избранному всадническому сословию.

Это были Валерия Мессалина, дочь Марка Валерия Мессалы Варбата, племянника сестры Августа Октавии, и Тиберий Клавдий Друз, брат великого Германика. Он, соответственно, приходился дядей Гаю Цезарю Калигуле, новому императору Рима.

Справа от Мессалины стоял Тит Прокул, высокий элегантный юноша из всаднического сословия. Он старался предупреждать каждое ее желание.

Клавдий что-то говорил голубоглазому человеку среднего роста с растрепанной густой шевелюрой и столь же неряшливой бородой. Тот изредка отвечал, дружелюбно улыбаясь.

Собеседником Клавдия был Луций Анней Сенека, сорокалетний мыслитель, автор признанных трудов по философии. Поодаль находились два вольноотпущенника:

Паллант, управляющий Клавдия, и Полибий, исполнявший обязанности его библиоте-
каря.

Вокруг базилики теснилось столько разнообразного люда, что каждый зритель поневоле смешивался с толпой: надменная матрона обнаруживала рядом с собой куртизанку, блиставшая нарядом юная патрицианка оказывалась бок о бок с чумазой женой мясника, а благоухающий фронт сталкивался с закопченным кузнецом или булочником.

Мессалина, безучастно наблюдавшая за плебеями, которые снова и снова рукоплескали Калигуле, казалось, была целиком погружена в свои мысли и не замечала ухаживаний Тита Прокула.

В эту минуту Тиберий говорил с Сенекой об учении Александрины Социона и о его значении, с точки зрения последователей Академии.

– Сальве, Тиберий Клавдий Друз! Ты принадлежишь к славному роду Германика! Ты тоже имеешь право быть императором!

Эти слова принадлежали молодому центуриону из девятнадцатого легиона, стоявшему перед ступенями базилики Порция.

Клавдий, Сенека, Прокул, Полибий и все остальные мгновенно обернулись на звуки этого голоса, но, пожалуй, наибольшее впечатление он произвел на Мессалину, в глазах которой заиграл радостный блеск.

Крепкому загорелому центуриону было лет около тридцати. Из-под шлема выбивались непослушные пряди черных волос. Дерзкий взгляд его останавливался то на Клавдии, то на Мессалине. Звали его Деций Кальпурниан.

– Твои слова благородны, но безрассудны! – произнес с добродушной улыбкой Тиберий Клавдий, – увь, я не рожден для житейской суеты. Мой удел – уединенный труд среди мирных отеческих Ларов. Отдаю должное твоему великодушному пожеланию, но еще больше я благодарен моей покровительнице богине фортуны, охранявшей меня от участия в государственных делах. На них я не променял бы и одного тома своей «Истории этрусков»!

Клавдий был доволен своими словами, чего нельзя было сказать о его супруге.

Нахмутив черные брови, она пробормотала презрительно:

– Чтоб ты подавился своей «Историей этрусков»!

– Книга хорошая, – примирительно заметил Полибий. – Но империя все-таки лучше!

А Паллант едва слышно прошептал:

– Клянусь Венерой Прародительницей, у твоей жены больше рассудка, чем у тебя, доблестный Клавдий!

– Опять, как всегда, все вы сговорились против меня, – смущенно бормотал Клавдий. Он хотел разозлиться, но не знал, как это сделать. – Я требую, я умоляю вас, – добавил он почти плача, – оставьте меня в покое!

Но Мессалина уже не могла удержаться. Не слушая мужа, она бросила Палланту:

– Попал в самую точку!

– Попала, – шепотом поправил ее Тит Прокул, который слышал ее предыдущую реплику.

– Тебе ли об этом судить? – съязвила дама, со злой усмешкой посмотрев на него.

Ее кавалер осекся и сник.

Минуто спустя Клавдий сказал на ухо Сенеке:

– Ума не приложу, как я дожил до смерти Тиберия? Чего я только не испытал! Каких страхов не перенес! Но, к счастью, Гай избавил меня от этого ужаса!

В это время новая волна неистовых криков прокатилась по Форуму: горожане приветствовали появление гвардейцев претории – Макрон действительно призывал их на площадь! – которые несли восковую фигуру Калигулы, водруженную на древко знамени. За ними следовала огромная толпа народа.

Всех, кто стоял на их дороге, отеснили к дальним углам площади. Давка была бы неминуемой, если бы преторианцы не направились в сторону Марсова Поля, увлекая за собой плебеев и патрициев, желавших присоединиться к шествию.

Форум стал постепенно пустеть.

Случайно или нет, Деций Кальпурниан при первом же напоре толпы очутился на ступенях базилики Порция, где лицом к лицу столкнулся с Мессалиной! Кавалер оказался оттертым от нее, так же как и евнух, который все еще держал бесполезный зонтик.

Увидев, как его слова подействовали на Валерию Мессалину, центурион почувствовал, как кровь застучала у него в висках. На мгновение ему показалось, будто в глазах Мессалины промелькнули такие несбыточные обещания, что, отказываясь поверить в них, он принялся убеждать себя в обратном.

«Возможно ли? Нет, это обман чувств! Всего лишь помутнение рассудка, вызванное безнадежными мечтами! Чтобы дочь Мессалы, жена Клавдия, такая юная и прекрасная могла снизойти до меня? Ах нет, это невероятно! И все же, недаром ведь рассказывают о самых именитых матронах, не пренебрегавших даже мимами и гладиаторами. Чем же центурион хуже их?»

Охваченный противоречивыми мыслями Деций Кальпурниан прямо перед собой увидел Мессалину, значение взгляда которой было бы понятно любому.

Сломленный этим взглядом, центурион умоляюще посмотрел на нее.

– Благодарю тебя, бесстрашный юноша, за чувства, которые ты только что выразил, – проговорила Мессалина нежным, чуть дрогнувшим голосом.

Деций побледнел. Задохнувшись от избытка чувств, он не мог подобрать слова. Ни одно из них не подходило для того, что он хотел сказать. Наконец он выдавил через силу:

– Спасибо тебе, прекрасная Валерия.

Сказав это, он почувствовал, как на его руку легла другая рука, прохладная и мягкая.

– О прекраснейшая! – прошептал центурион осипшим голосом. – Императрица... Клавдий...

И потерял дар речи.

– Не дрожи, – едва шевельнув губами, тихо сказала Мессалина, – приходи ко мне, ты мне будешь нужен.

– Только прикажи. Ты моя госпожа. Я твой раб.

– Тогда молчи и делай вид, что ничего не слышал, – быстро ответила жена Клавдия, заметив, что толпа стала расходиться и к ней возвращается ее муж вместе с Сенекой, Паллантом, Титом Прокулом и всеми, кого отеснили от курии.

Деций Кальпурниан перевел дух. В его висках еще стучала кровь, рука еще хранила прохладу женской руки, но все это казалось сном.

Мимо базилики Порция проходили колонны горожан, приветствовавших Калигулу. Плотными рядами в несколько человек они все шли и шли, исчезая за углом арки Тиберия. А за уходившими следовали новые толпы.

Пестрый людской поток переливался тысячами цветов и оттенков: от грязно-белой тоги парасита до белоснежного латиклавия сенатора; от небесно-голубой вуали на голове робкой девушки до вызывающе яркого индиго, в который был окрашен подоткнутый за пояс палий проститутки из городского притона; от бледно-оранжевой свадебной туники до шафранового наряда матроны; от лиловой плебейской лацерны до каштанового далматина на теле раба. Это изобилие красок озарялось ярким полуденным солнцем, придавая зрелищу фантастически-живописный вид.

– Двадцать четыре года, двадцать четыре года с небольшим, – продолжал Клавдий разговор с Сенекой, поглаживая ладонью складки кожи под подбородком, – мне ли этого не знать, когда я его дядя!

– Тем лучше! – вмешался Паллат. – Значит, не в двадцать пять, а в двадцать четыре года Гай завладел всем миром.

– Не знаю, владеет ли он хотя бы самим собой, – хмуро пробормотал Сенека.

– Уверен, он не понял учения стоиков! – подхватил Полибий, шедший за Сенекой и Клавдием.

– И платоников, – усмехнувшись, добавил философ и принялся разглядывать площадь.

Толпы уже заметно поредели, на ступенях под колоннадой базилики Порция оставались только Валерия Мессалина и отступивший от нее на несколько шагов центурион Деций Кальпурниан.

Мимо базилики Катона спешили зазевавшиеся горожане, которые пытались догнать шествие, направившееся в сторону Марсова Поля.

В их числе ковылял хромоногий старик, одетый как сенатор. Он опирался на посох из черного дерева, инкрустированный серебром и слоновой костью. Примечательна была не только его горбатая фигура, уродливость которой усугублялась короткой кривой ногой, но и совершенно плешивая голова, покрытая растительностью разве что под глазами и на подбородке, откуда редкие седые волосы взбирались к облысевшим вискам.

У него были некрасивые, но волевые черты лица. Щеки и подбородок, тщательно выбритые и умащенные благовониями, несмотря на все ухищрения во время утренних туалетов, были изрезаны морщинами преждевременной старости.

Это был Паоло Фабий Персик, три года назад исполнявший обязанности консула. Изящная туника и изысканная тога, котурны, украшенные яшмой с ониксом, и крупный бриллиант в золотой оправе, сверкавший на указательном пальце правой руки, говорили не только об изысканном вкусе их владельца, но и о его огромном богатстве. Состояние Паоло Фабия Персика равнялось пятидесяти шести миллионам сестерциев.

Поравнявшись с Мессалиной и стоявшим чуть поодаль от нее Клавдием, он оживился и вкрадчиво произнес:

– Сальве, прославленный Клавдий! Сальве, божественная Валерия!

В знак уважения он приложил правую ладонь ко рту и поклонился. Принимая ответные приветствия, поднялся на лестницу и слащавым тоном обратился к Мессалине:

– Поздравляю тебя с прекрасным днем, Валерия! Сегодня ты стала тетей императора!

– Лучше было бы стать женой императора, – чуть слышно обронила Мессалина, пожимая руку сенатора.

– Увы, твой муж не был бы самим собой, если бы не оказался таким простофилей.

– К сожалению, ты прав, – со вздохом согласилась дочь Мессалы.

– Ах, если бы я имел счастье быть твоим мужем, – еще тише, чем прежде, прошептал Фабий Персик и осторожно коснулся ее белого локтя.

– Уж не была бы я одета беднее всех римских матрон, – едва шевеля губами, шепотом продолжила его фразу женщина и, не высвобождая локтя, нежно посмотрела на Фабия.

– Сколько раз я тебе говорил, – глухо выдавил сенатор, – стоит тебе только захотеть, и все твои желания исполнятся.

В это время Клавдий, до сих пор занятый беседой с Сенекой, увидел, что Форум уже почти опустел, и громко спросил:

– Не желает ли Мессалина воспользоваться этим затишьем и вернуться домой? Обеденный час уже прошел, а мой бедный желудок не выносит подобного пренебрежения к нему.

– Сейчас, – ответила его жена и, взявшись за локоть Фабия Персика, стала спускаться с ним по лестнице. Переступая со ступени на ступень, она чувствовала на себе жаркий взгляд Деция Кальпурниана, который шел в нескольких шагах за ними.

– К твоим услугам носилки, а мы немного пофилософствуем, – сказал Клавдий.

Два патриция и два либертина пропустили вперед носильщиков, предшествуемых номенклатором и евнухом, которые все это время стояли наготове. Спускаясь по лестнице, Клавдий окликнул Деция Кальпурниана, провожавшего носилки красноречивым взглядом:

– Эй, юноша!

И, по-своему истолковав сконфуженность центуриона, он продолжил:

– Благоразумный человек должен удерживаться от опрометчивых поступков, подобных тому, который ты совершил сегодня. Забудь о моем родстве с Германиком, ты мне ничего не говорил, я тебя не слышал.

Степенно попрощавшись, он с достоинством спустился по лестнице и отправился вслед за носилками, рядом с которыми шел Паоло Персик, а чуть поодаль – Тит Прокул.

– Прекрасная Валерия! Позволишь ли ты поцеловать эту прелестную ручку? – прошептал старик.

– Позволю, – не смутившись, ответила Мессалина и протянула сенатору руку, которую тот благоговейно поцеловал.

– Сегодня ночью на улицах будет много народу, – шепнула она на прощание. – Приходи в час контицилия и спроси Перцению.

Она махнула рукой, и Персик отстал от носилок. Но не успели далматы сделать и нескольких шагов, как с другой стороны носилок ее окликнул запыхавшийся Деций Кальпурниан. Она обернулась и произнесла:

– Прими еще раз мою благодарность за твое расположение к нам.

И, пока центурион подбирал ответные слова, она высунула голову за паланкин и, глядя как бы на дорогу, добавила чуть слышно:

– Завтра на рассвете приходи ко мне. Только осторожно. Спроси Перцению.

Она улыбнулась и нежно помахала рукой...

Четверо далматов шагали в ногу, впереди них шел номенклатор, рядом с паланкином осторожно ступал евнух с зонтиком, а сзади плелся Клавдий, с видом знатока рассуждавший об изысканных яствах, которые ожидали его:

– Посмотрим, удались ли повару грибы под мавританским соусом.

И немного погода мечтательно добавил:

– До чего же хочется обожраться! Просто нет сил!

Глава II. Гай Цезарь Калигула в руках Эннии Невии

Перед ростральной трибуной Юлия стояли роскошные похоронные носилки, окруженные запыхавшимися сенаторами и всадниками. В носилках лежало тело Тиберия, многочисленные язвы на лице которого были скрыты под маской из благовоний и редких мазей.

Пространство Форума начиная от арки Фабиана было заполнено людьми. Они теснились и на ступенях храма Весты, и даже на широкой лестнице храма Кастора и Поллукса.

На рострах в величавой позе стоял высокий юноша, облаченный в черную тогу; он произносил похвальную речь Тиберию. Это был Гай Цезарь Германик Калигула, восемь дней назад провозглашенный императором.

Удлиненное лицо Калигулы было бы красиво, если бы не выражение мрачной свирепости, никогда не покидавшее его, словно он хотел вызвать ужас у всех, кто его видел.

Широкий и высокий его лоб, на который падала прядь каштановых волос, был грозно нахмурен.

Поредевшая шевелюра была зачесана так, чтобы по возможности скрыть раннюю лысину. Большие голубые глаза обычно выражали то гнев, то подозрительность и поразительно быстро, почти по-детски меняли одно состояние на другое. Облик дополняли впалые виски, худые щеки, изогнутый аристократический нос, красивый чувственный рот и тонкая шея.

Фигура нового принцепса была, пожалуй, слишком полной, а ноги чересчур тонкими.

Когда Калигула появился на рострах, раздались аплодисменты, но в то же время слышались и голоса:

– Никаких похвальных речей! Хватит прославлять чудовище!

И тысячи глоток сразу подхватили:

– Тиберия в Тибр! Тиберия к Гемониям! Тогда Гай Цезарь решил, что лучше начать с похвальной речи своему прадеду Августу, своим родителям Германику и Агриппине, а далее, как бы невзначай, упомянуть о дяде, имя которого вызывало столько ненависти. С мастерством опытного оратора, неожиданным в столь молодом человеке, он сумел составить выступление из импровизированных похвал Августу и Германику, обожаемым в народе, и из приготовленных накануне прославлений в адрес Тиберия, их потомка.

Его простая и строгая речь в целом вызвала одобрительные рукоплескания, хотя при всяком упоминании Тиберия слова нового императора заглушали яростные крики:

– В Тибр! В Тибр!

Поэтому в заключение Гаю Цезарю пришлось просить разрешения народа: ради памяти Германика и Агриппины позволить сжечь тело Тиберия и достойно похоронить прах.

После некоторого замешательства эта просьба была уважена.

Вскоре несколько сенаторов и всадников, сопровождаемых сотней преторианцев, без всяких почестей понесли тело к Марсову Полю. Им вслед полетели проклятия и ругательства.

Прибыв к мавзолею Августа, участники процессии предали огню останки Тиберия, а пепел собрали в урну и поместили в одну из ниш величественного монумента.

На этом погребение закончилось, и Калигула отправился в курию.

Там он оглядел сенаторов, притихших если не из уважения к традициям траурных церемоний, то из страха перед собственным будущим, и стал говорить.

Прежде всего он поблагодарил сенат, здравый смысл которого не позволил разделить верховную власть между ним и сыном Друза, Тиберием Гемелом, как предназначалось в завещании деспота; он заверил, что ни сенат, ни народ Рима не пожалеют о таком решении.

Он сказал также, что, тщательно изучив бумаги Тиберия, приказывает квестору государственной казны без утайки выплатить все суммы, указанные в завещании усопшего императора, хотя в целом оно, конечно, не может иметь силы.

Кроме того, он распорядился выдать большую сумму преторианцам, вигилиям и легионерам. Это проявление щедрости нового принцепса было одобрено долгими аплодисментами.

Наконец, говоря о Тиберии, он во всеуслышание назвал его деспотом и призвал восстановить основы Республики: отныне все общественные дела должны были находиться в ведении сената, вобравшего в себя блеск и достоинство всего Рима.

Эти слова попали в самую точку. Притихшая на время курия разразилась бурными рукоплесканиями; сенаторы стали наперебой поздравлять друг друга с возвращением золотой поры Республики, которая, казалось, навсегда канула в прошлое. Многие плакали от счастья, обнимались и благословляли Гая Цезаря.

Лишь небольшая группа отцов города, возглавляемая Аннием Минуцианом, Лентулом Гетуликом, Юлием Греком и Валерием Азиатиком, не разделяла общего ликования, опасаясь поддаваться слишком уж обнадеживающим обещаниям.

Не обращая внимания на остальных, эти сенаторы хмуро переглядывались между собой, вполголоса высказывая сомнения в искренности только что прозвучавших слов.

– Как мне известно, Тиберий – а он был великим знатоком людей! – однажды заметил, что не оставил бы в покое Калигулу, если бы не воспитал в нем ядовитую змею для Рима.

Это сказал Лентул Гетулик.

– Я вам напомним о другом, – добавил Анний Минуциан, – еще на Капри Калигула так часто превозносил жестокость Луция Корнелия Суллы, что даже Тиберий в конце концов не удержался от реплики: «К сожалению, обладая всеми пороками Суллы, ты не имеешь ни одного из его достоинств».

И многие отцы города подтвердили, что до них тоже доходил подобный слух.

– А моя бедная дочь Юния, – дрогнувшим голосом произнес Марк Юлий Силлан, – которая, как вы знаете, была женой Калигулы и умерла на шестой месяц после свадьбы, говорила мне, что за его внешним безразличием к общественным делам, так же как и за страстью к высоким словам скрывается столько низких помыслов, сколько их не было даже у самого Тиберия!

Тем временем сенат, вызвав обоих консулов, Ацеррония Прокула и Петрония Негрина, предложил им сложить с себя полномочия, чтобы Цезарь мог принять консулат и по своему усмотрению выбрать подходящего помощника: Прокул и Негрин одобрили такое решение. Однако император категорически отверг подобную честь и, поблагодарив консулов за доверие, попросил их исполнять свои обязанности вплоть до календ июля, когда с согласия сената им будут назначены преемники.

Вновь последовали аплодисменты и одобрительные возгласы. Рукоплесканиями были встречены и три закона, которые Гай Цезарь вынес на рассмотрение сената. Во-первых, он пожелал выслать за пределы Рима спинтриев, изобретателей чудовищных сладострастий, и тех, кто открыто торговал своим телом; во-вторых, всем заключенным он дарил свободу, а в-третьих, всем изгнанникам предоставлял право вернуться на родину.

К единодушной радости присутствующих, все законы были приняты без промедления.

На этом Гай Цезарь объявил собрание законченным и вышел на Форум под восторженный гул толпы, в которой услужливые подхалимы уже разнесли весть о новых постановлениях верховной власти.

Приняв поздравления, Цезарь со своей свитой направился в Палатинский дворец. Отряд из двадцати четырех ликторов стал прокладывать ему дорогу. Процессия почти скрылась из виду, когда из курии вышел Валерий Азиатик и обратился к Аннию Минуциану:

– Интересно, сколько сенаторов осталось бы в Риме, если бы закон против разврата распространялся на всех соучастников этого греха?

Собеседник широко улыбнулся:

– Пожалуй, столько же, сколько уцелело после разгрома римлян в Каннах.

У Палатинского дворца, отстроенного Тиберием на месте старого дома императора Августа, Гай Цезарь Калигула расстался с отцами города, которые по очереди поцеловали его протянутую руку, в последний раз обменялся приветствиями со следовавшей за ним толпой плебеев и вошел в роскошный атрий с колоннами из тибуртинского мрамора, греческими статуями и мозаичным полом.

Оттуда он направился в еще более великолепный таблий, по обе стороны которого шли двадцать четыре колонны из белоснежного чиполлино, а в глубине высился пожелтевший от времени цоколь, украшенный дорогими картинами и мраморными изваяниями всех представителей императорского рода. Расставленные по отдельным нишам, они изображали Юлия Цезаря, Августа, Октавию, Ливию, Марцелла, Антония Великого, Нерона, Клавдия Друза, Тиберия, Агриппину, Луция Цезаря и Германика. Была здесь и статуя Гая Цезаря.

Посредине таблия возвышались четыре золотых канделябра работы искусных греческих ювелиров, символизировавших четыре числа, которым римляне придавали особое значение: один, три, шесть и девять.

Вокруг них были расставлены софа, кресла и подставки для ног из слоновой кости; на полу лежали ковры, подаренные Антиохом из Тира.

Миновав двух безмолвных и неподвижных стражников, стоявших у входа в таблий, Калигула прошел внутрь и, сбросив на пол черную тогу, громко крикнул:

– Да провалится к Эребу этот траурный наряд вместе с душой покойного Тиберия! Принесите застольное платье! И холодного фалернского вина с медом!

С этими словами он растянулся на софе, положив голову на подлокотник. На звук его голоса из спальни, примыкавшей к таблию, беззвучно вышла женщина, еще молодая и красивая.

Ей исполнилось тридцать два года, она была невысокого роста и довольно полного телосложения.

Густая копна ярко-каштановых волос наполовину скрывала ее плечи.

Бледное лицо женщины, не обладавшее греческим совершенством, было все же привлекательно благодаря гармоничности черт.

Ее миндалевидные глаза со зрачками цвета морской волны манили глубиной и живостью взгляда. Маленький нос был слегка вздернут над влажными чувственными губами.

Она была одета в безукоризненно белое застольное платье, украшенное розами. Легкий наряд женщины едва прикрывал ее алебастровую грудь и гладкие, полные руки.

Это была Энния Невия, жена Невия Сартория Макрона, два года назад ставшая любовницей Калигулы.

Энния задержалась, увидев слугу, который нес императору халцедоновый кубок на золотом подносе. Калигула отпил из кубка и, возвратив его слуге, вздохнул с облегчением:

– Вот так-то лучше!

Слуга поклонился и вышел. Тогда Энния на цыпочках подкралась к спинке софы, на которой лежал новый властелин Рима, и, наклонившись, приложила губами к его лбу.

– Ах! Это ты, Невия? – воскликнул Калигула. Он повернулся, обхватил женщину за талию и усадил рядом с собой.

– Я, любимый! – нежно ответила она, поглаживая его по щеке. – И я уже готова к обеду, потому что знаю, как ты проголодался.

– Ты так заботлива, – сказал Калигула, целуя ее, – и так красива.

– Как бы я хотела всегда казаться тебе такою! – произнесла Энния и, неожиданно погрузнев, добавила: – Увы! Теперь, когда ты стал императором, у меня появилось много соперниц. Думаю, они уже начали осаждать тебя.

– Ну, Энния, не мучай меня своей ревностью.

– Ты молод и легкомыслен, – продолжала женщина, не дав прервать себя. – А сегодня ты стал всесилен, как никто в мире!

– Что ж! – помрачнев, медленно произнес Калигула. – Да, я всесилен, как Зевс! И даже больше! Потому что я здесь, на земле, а он так далеко!

Энния Невия помолчала, а потом прошептала сквозь слезы, которых, казалось, не замечала:

– О да! А как ты говорил там, на Капри. О, нашей любви.

– Но я и сейчас тебя люблю! Только не плачь, не мучай меня, – произнес Калигула, черты лица которого постепенно разгладились, а голос зазвучал мягче.

– О, Гай! – всхлипнула Энния, – ты знаешь, как я тебя люблю. Я это говорю не потому, что ты стал так велик: мне страшно потерять твою прежнюю любовь. Как я хочу, чтобы Тиберий был еще жив, а ты оставался бы тем же бедным сыном Германика: покинутым и забытым всеми, но моим... только моим!

– Опять за свое! – воскликнул император, снова выходя из себя, – кто же тебя лишает моей любви?

– Да все, все! Мало ли в Риме дерзких и богатых женщин – от Домиции Лепиды до ее дочери Валерии Мессалины, от Пoppеи Сабины до Лоллии Паолины, от Элии Петины до Юнии Кальвины, наконец, от грязной Пираллиды до гадкой Лициции, – которые только и думают, как бы тебе приглянуться! У них одно на уме – занять мое место в твоём сердце!

– А кто из них сможет приказать моему сердцу? – спросил Калигула таким мрачным тоном, какой Невии был еще не известен.

Она хотела что-то сказать, но вдруг осеклась и повернулась к Калигуле, который хмуро смотрел на нее.

– Кто прикажет мне, императору?!

– Тот, – глубоко вздохнув, чуть слышно произнесла она, – кто завладеет твоими чувствами.

– Власть чувств недолговечна! – пожав плечами, безапелляционно заявил сын Германика.

– О, горе мне, несчастной! – внезапно воскликнула женщина, вновь разрыдавшись и закрыв лицо руками, – я так и знала! Я сразу все поняла!

В эту минуту в дверном проеме появился стройный голубоглазый молодой человек лет двадцати восьми, с огненно-золотистой шевелюрой и бледным веснушчатым лицом. Маленькие руки и короткие ноги говорили о его высоком происхождении. Признак породы был виден и в высокой шее.

Одетый в желтую тунику с голубой каймой, он держал в руках наряд императора, предназначенный для застолья. Остановившись у порога, молодой человек согнулся в глубоком поклоне и произнес:

– Да хранят боги императора Гая Цезаря Германика Августа.

– Это ты, Калисто? – спросил Калигула, обернувшись. – Что ты принес?

– Тебе застольное платье и напоминание о том, что настал час обеда.

– Тогда добро пожаловать, ты, как всегда, вовремя! – воскликнул Калигула, улыбнувшись либертину и жестом приглашая его войти.

После того как Калисто помог ему переодеться, он озорно щелкнул его по щеке и, подмигнув, сказал:

– Ну, Калисто, друг и свидетель моего мрачного прошлого, не пора ли отомстить за все наши страдания?

Затем, неожиданно хлопнув в ладоши, он как-то странно посмотрел на слугу и продолжил:

– О да! Во имя Геркулеса, нам есть за что отомстить! И, клянусь, мы расплатимся сполна! У нас задрожат и люди, и боги!

Он помолчал и добавил уже другим тоном:

– Ладно, Калисто, ладно.

Либертин подобрал траурную тогу Калигулы и, поклонившись, вышел.

Повернувшись, император быстро подошел к софе, схватил за запястья Эннию Невию и, притянув ее к себе, посмотрел ей в глаза долгим взглядом, одновременно выражавшим и ярость, и нежность. Энния, опустив голову, не сводила глаз с ковра Антиоха, лежавшего у нее под ногами.

– Слышала? – наконец выговорил Калигула. – Слышала? Так давай же радоваться. Хватит с нас тех мучений, которые нам пришлось пережить на Капри. Больше не надо плакать. Ну, Энния, милая...

Он опустился на колени, обхватил ее шею одной рукой и припал губами к ее губам. Потом глухо сказал:

– Я тебя люблю и буду любить. Только не расстраивай меня, не ревнуй, не подозревай. Не забывай, что ты тоже принадлежала Макрону. Такому доблестному мужу и такому услужливому.

– Вдруг, припав к груди женщины и покрывая ее поцелуями, он спросил:

– Как по-твоему, я красивей Макрона?

– Красивей всех. Красивей Аполлона!

– Ты действительно ненавидишь Макрона?

– Он мне отвратителен.

– Я сделаю тебя своей женой. Августой.

– О, Гай, возлюбленный мой, – прошептала женщина, страстно целуя императора.

– Давай же осмотрим наши будущие брачные покои, – вставая и беря ее под руку, произнес Калигула, – а потом пойдем на обед.

Молча и нежно глядя друг на друга, они направились в комнату, откуда недавно вышла Энния Невия.

– Сальве, Цезарь Август! По твоему повелению, напоминаю тебе, что твой иудейский друг Агриппа из Иродов.

Этот звучный баритон донесся со стороны главного входа в таблий.

Калигула и Энния одновременно обернулись на голос и увидели Невия Сартория Макрона, одетого в белую, окаймленную пурпуром тогу, из складок которой торчала рукоять меча.

– Сальве, мой верный Макрон! – ответил Калигула, остановившись. – Через полчаса мы пойдем на обед, а после него отправимся в тюрьму Мамертин. Вот там ты и расскажешь об Агриппе.

– Будет так, как ты прикажешь, – произнес Макрон. Калигула, не выпуская руку Эннии Невии, медленно пошел прочь. Однако, пройдя несколько шагов, он снова остановился и вкрадчиво спросил:

– Знаешь ли ты, Макрон, что твоя супруга очень красива?

– Я рад, что она тебе нравится.

– Я ее обожаю, Макрон.

– Благодарю тебя за это.

– Подожди немного, и мы вместе пойдем обедать.

– Хорошо, я буду в таблии.

Когда Калигула и Невия скрылись в покоях, префект претория принялся ровными шагами ходить из угла в угол, словно хотел измерить длину комнаты.

Правую ладонь он положил на локоть левой руки, которой подпирал подбородок. У него был вид человека, глубоко погруженного в свои мысли. О чем он думал? Об измене, которой едва не стал свидетелем? А может, хотел отомстить за свой позор?

«Откровенно говоря, я не вижу в Эннии тех достоинств, которые находит в ней Калигула, но тем лучше! Горе тем мужьям, которых наши скромные матроны обманывают по десять раз на дню, но если Энния понравилась Калигуле, то это удача! Во имя Кастора! Уж лучше пусть изменяет с Цезарем, чем с первым попавшимся актером, атлетом, гладиатором, даже с рабом, как все остальные! Цезарь раздает и отнимает почести и богатство. Что верно, то верно. Энния превзошла многих в искусстве нравиться мужчинам! И это все ради меня! Я помню, что она говорила мне на Капри: «Вот кто будет преемником Тиберия: Тиберий скоро умрет, а Гай останется, – молодой, пылкий. Нужно быть рядом с ним. В нем залог нашего будущего!» Так размышлял обманутый муж.

Казалось, Макрон был доволен. Он скрестил руки на груди и, постояв немного, возобновил прерванное хождение из угла в угол.

«Во имя Геркулеса, так все и произошло! С моей помощью он достиг вершин того, о чем может мечтать человек! Он мне обязан всем: и верховной властью, и объятиями моей жены! В июле он примет консулат, а я вместе с ним стану консулом! Консул Сарторий Макрон! Во имя Геркулеса! Вот она, удача! Неслыханная удача для плебея, простого солдата. На следующий год я буду проконсулом. Энния мне поможет выхлопотать назначение в Сирию. Там в долине Евфрата живут парфяне; они до сих пор не покорены. Макрон их победит! Он привезет в Рим столько золота, сколько не было у Марка Красса, которого разбили парфяне. Вот за его поражение и отомстит Невий Сарторий! И заслужит триумфальные почести, богатство, покой. И если Гай Цезарь – а он ведь переменчив и капризен! – разлюбит Эннию... да, скорее всего, так и сложится. Тогда у меня будет все: власть, богатство, достоинство и Энния. Вот когда я буду счастлив и спокоен, как и полагается старости».

Мысли роились в голове Макрона, пока он мерил шагами просторный зал во дворце Тиберия.

Час спустя в великолепном императорском триклинии, стены которого были украшены роскошными картинами, изображающими пиршества различных мифологических персонажей, сгрудившись вокруг стола, уставленного серебряными блюдами с золотой инкрустацией и халцедоновыми чашами, на трех пурпурных ложах возлежали Гай Цезарь и его восемь сотрапезников. Они были заняты обедом, который, по мудрому совету древних римлян, должен был состоять из легкой и умеренной пищи, но к описываемому времени превратился в апофеоз чревоугодия, вредного как для желудка, так и для души.

На первом ложе, слева от входа в триклиний, удобно расположился сам император Калигула, рядом с ним возлежали Невий Сарторий Макрон и Энния Невия, посередине устроились Луций Анней Сенека, Тиберий Клавдий Друз, занимавший центральное место за столом и, видимо, на пиру, и его жена, Валерия Мессалина. Справа от входа лежал Гай Петроний Понций Негрин, один из консулов, избранных на этот год. Возле него отдыхала Агриппина, сестра императора, всего лишь двадцать дней назад родившая своего первого и последнего сына, Гнея Домниция Знобарба – того самого, который после усыновления получит имя Клавдия Нерона, а семнадцать лет спустя станет императором, – и, наконец, у самого края непринужденно развалился мим Мнестер, прелестный и стройный, от природы наделенный блестящим даром имитации.

Уже давно были вкушены изысканнейшие блюда: ароматные ионийские устрицы возбуждали аппетит участников трапезы; нежнейшее мясо молочного козленка, приготовленное

под великолепным пикантным соусом, утолило их первый голод; среди морских деликатесов, красовавшихся на столе, были отведаны девять огромных мраморных краснорылец, каждая из которых стоила не меньше трех тысяч сестерциев; даже приправа из фазаньих языков была попробована и заслужила одобрение Клавдия, Петрония и Мнестера, самых признанных гурманов из числа всех собравшихся.

Уже были пущены по кругу цекубы с фалернским вином, и теперь слуги, трое мальчиков рабов в розовых венках и подпоясанных платьях, разливали в кубки отборное Хио.

Сотрапезники Калигулы были облачены в безукоризненные застольные наряды белого цвета. Каждому гостю кравчий водрузил на голову пышный розовый венок.

– Да ниспошлют боги сто лет счастливой жизни моему владыке, императору Гаю Цезарю Германику, и еще пятьдесят лет его непревзойденному повару, приготовившему такие замечательные блюда, – в очередной раз провозгласил тост Клавдий, покрасневший и порядком охмелевший от неумеренных возлияний.

– Долгая жизнь и вечная слава божественному императору Гаю Цезарю! – воскликнула Валерия Мессалина и, встав со своего места, пристально взглянула на племянника.

– Слава! Слава! – подхватили все остальные.

– Благодарю всех, а особенно нашего известного бездельника Клавдия и его очаровательную Валерию.

Присутствовавшие засмеялись, и первым расхохотался Клавдий, пребывавший в самом веселом расположении духа:

– Конечно, бездельник! А потому прошу не бросать меня на произвол судьбы и почаще приглашать к этому столу!

– О, Август, ты красив и великодушен! – глядя в глаза Калигуле, сказала Мессалина, – позволь же мне злоупотребить твоей щедростью и просить милости, на которую рассчитываю не я одна!

– Говори, я слушаю, – произнес Калигула, который уже давно не сводил глаз с супруги Клавдия. – Все желания моей очаровательной тетушки должны быть исполнены.

Энния Невия бросила на Мессалину взгляд, исполненный ненависти и злости; те же чувства отразились и в бледно-голубых глазах Агриппины.

– Боги давно ведают о благосклонности, – начала Мессалина, – которую ты мне оказываешь и которую, к сожалению, я не совсем заслужила, будучи далека от государственных дел. Но я прошу всего лишь о небольшом одолжении. Что ты ответишь на просьбу о зачислении в ряды преторианской гвардии человека, всей душой преданного тебе и дому Юлиев, центуриона девятнадцатого легиона Деция Кальпурниана, который сейчас в отпуске и находится в Риме?

Клавдий, как ни был пьян, от этой выходки жены похолодел и, повернувшись к Сенеке, проворчал вполголоса:

– Что за глупости у женщины на уме? Безрассудство моей жены скомпрометирует меня перед императором. Будто не знает его характера. Он же подумает, что я хочу стать префектом претории! Нет, не зря греки запирали своих трещоток в гинеее! О, мудрые греки, где вы?!

Однако последних слов Сенека не расслышал, потому что их заглушил голос Калигулы:

– Макрон! Сегодня же прикажи записать в когорты преторианцев Деция Кальпурниана, рекомендуемого нашей очаровательной тетушкой. Только не центуриона, а трибуна: отныне он будет носить более высокое звание.

А пока Мессалина рассыпалась в благодарностях Калигуле, многообещающе глядя на него, Луций Анней Сенека, словно забывший знаменитое учение Платона и Зенона, с заметным пристрастием рассматривал совершенные формы Агриппины, сестры императора.

Ей недавно исполнился двадцать один год. Она была высока, стройна, несмотря на осиную талию, обладала довольно широкими плечами и роскошной грудью, наполненной молоком для маленького Нерона.

Аристократичность обнаруживала себя в чертах ее лица правильной овальной формы: в высоком лбе, тонком носе, маленьком изящном рте и грациозно приподнятом подбородке.

Чудесные ярко-каштановые волосы были мелко завиты и, обрамляя прекрасную голову, падали на плечи двумя косами.

Восхитителен был разрез ее серо-голубых глаз, блестевших как лезвие стального кинжала.

Она производила впечатление умной, расчетливой и холодно-высокомерной женщины.

Но последнего никак нельзя было сказать об Эннии Невии, которая в глазах Мессалины, как в открытой книге, прочитала все ее намерения и теперь не могла сдерживать вспыхнувших ненависти, страха и желания спасти Калигулу от чар других женщин.

Она слишком исстрадалась. Сколько она пролила слез, сколько раз пробовала жаловаться на Мессалину и лишь вызывала гнев своего возлюбленного!

– О, божественный Гай, – прошептала она Калигуле, как только тот назначил Деция Кальпурниана трибуном преторианцев, – не верь этой распутнице. Не предавай твою бедную Эннию, которая тебя так любит.

Калигула, не вставая с ложа, приподнялся на локте, а другой рукой придвинул к Эннии халцедоновый кубок, только что наполненный внимательным кравчим:

– Не бойся, Энния, и не огорчай меня. Выпей из моего кубка за милосердие твоего императора.

Зардевшись от этого знака особой благосклонности и словно забыв горечь недавних слов, женщина преданно взглянула на Цезаря и взяла со стола кубок:

– Здоровья и процветания величайшему императору Гаю Цезарю Германику!

Она выпила половину кубка и вернула его Калигуле, который допил остальное.

– А о чем задумался наш философ, – внезапно оживившись, обратился Гай Цезарь к Сенеке, – который так внимательно разглядывает достоинства моей сестры Агриппины?

– Твоя сестра удивительно похожа на твою мать – то же благородство и гармония черт.

– Ты сегодня настроен на комплименты, любезный Сенека, – откликнулась Агриппина. – Богам угодно, чтобы дети походили на матерей.

– Бедная наша мать! – воскликнул Калигула. – Когда я думаю о ее страданиях, то во мне разгорается столько ненависти к Тиберию.

Он ненадолго замолчал, а затем поднялся со своего ложа и продолжил:

– Вы не знаете: три года назад, когда мы жили в доме тирана на Капри, я однажды ночью оказался рядом со спальней Тиберия. Прислуга ушла, внутри было тихо. Только из комнаты возле атрия доносился храп преторианцев. Вдруг я вспомнил детство, мать, бедных братьев Нерона и Друза. И тогда во мне что-то перевернулось, произошло что-то необъяснимое. Точно кровь закипела в жилах и ударила в голову. Мне вдруг послышался какой-то смутный гул, как будто где-то рядом заговорили сотни приглушенных голосов. Не осознавая всего происходящего, я понял только то, что вынимаю из ножен кинжал и иду в спальню Тиберия. У меня помутился рассудок, и я бы не задумываясь убил ненавистного тирана. Я чувствовал, что должен отомстить за истребление всего моего дома.

– Во имя Марса-мстителя, ты должен был убить его! – нарушил тишину возглас Агриппины, которая с напряженным вниманием слушала рассказ брата.

– Я его увидел при слабом свете лампы. Он беззаботно спал. Глаза были плотно закрыты, мерно дышала грудь. Но даже во сне его лицо, покрытое кровоточащими язвами, вызывало ужас.

– А лицо императора – это лицо всей империи! – неожиданно повысил тон Калигула и, помолчав немного, продолжил:

– Я задрожал от страха. На лбу выступил холодный пот. В голове промелькнула кошмарная мысль: а вдруг этот старый притворщик только делает вид, что спит? Вот он смотрит на меня сквозь прикрытые веки. Вот сейчас поднимет свою чудовищную руку – вы ведь знаете, он и в старости был неимоверно силен – и, словно стальными клещами, сожмет мое запястье. Мои нервы не выдержали, и я бросился прочь.

– Ты струсил! – угрюмо заключила Агриппина.

– Да, струсил, – согласился император и, ни на кого не глядя, опустил на свое ложе.

Воцарилась такая тишина, что стало слышно, как Клавдий жует куски недавно принесенного фруктового пирога, которым он, пребывая в глубокой задумчивости, машинально набивал рот.

– Наверное, я правильно поступлю, – спустя некоторое время проговорил Калигула меланхоличным тоном, – если прикажу жрецам и преторианцам отправиться на Пандетерию и Понтийские острова, чтобы с подобающими почестями вернуть прах нашей любимой матери и бедного брата Нерона, а потом поместить их в мавзолей Августа. Пусть у народа будет возможность выразить почтение, которое он к ним питает.

– Это будет правильно, – сказала его сестра, – и, если нужно, то я буду сопровождать тебя в этой скорбной поездке. Но лучше было бы покончить с тираном в ту несчастную ночь...

– ...Когда ты, по моим сведениям, разбудил нескольких до сих пор неизвестных тебе людей, участвовавших в гонениях на тебя, – добавил консул Петроний Негрин.

– Молчи! – вскричал Калигула, – доносчикам будет закрыт путь ко мне!

– Высокие слова, достойные сына Германика! – воскликнул Клавдий, положив в рот последний кусок пирога, лежавшего перед ним.

– Слова, достойные самого великодушного принцепса! – поддержал его Сенека. – Милосердие есть первая добродетель того, кто находится на троне. В ответ на твое благородство, я, если позволишь, посвящу тебе трактат о милосердии, который сейчас пишу.

– Если ты напишешь, что посвящаешь эту добродетель другим, то многочисленные критики твоего учения не останутся в долгу перед тобой, – ехидно заметил Калигула.

– Но я бедный философ и никому не даю денег в долг!

– Бедный, да не настолько, насколько требуют от философа стоики, учения которых ты, как говорят, придерживаешься.

Этот разговор, не суливший ничего хорошего для славы мыслителя, чьи слова слишком часто расходились с делом, был прерван появлением кравчих: они принесли мускатное вино Лесбоса в золотых кувшинах.

Новые заздравные тосты привели сотрапезников в состояние необузданного веселья.

– Клавдий! – смеясь, заметил Калигула, наблюдавший за своим дядей, – ты самый ненасытный обжора!

– За столом он всегда голоден, как волк, – вставила Мессалина, – а в библиотеке превращается в мелкого грызуна и может целыми днями не вылезать из своего угла.

Все рассмеялись, включая Клавдия, который наигранно пожаловался:

– Я бедный человек, рожденный для ученья. Не отнимайте у меня моих маленьких радостей, к которым был неравнодушен даже Эпикур, которого я очень люблю. Ты же знаешь, Цезарь, мне нужно немного.

– Ты – бедный человек? Бедный? – воскликнул Калигула, давась смехом. – Во имя Геркулеса, я положу конец твоей нищете. Я сделаю тебя богатым, мой ненасытный обжора!

С этими словами он схватил свой кусок пирога и быстро размазал его по лицу Клавдия.

Раздался дружный хохот, и первым вновь рассмеялся Клавдий, который, вытирая лицо, произнес:

– Безмерно благодарен тебе и, если позволишь, посвящу тебе трактат «История этрусков», который сейчас пишу.

– Ну уж нет! Пускай этруски останутся в своих гробницах и не тревожат моего слуха!

– Но позволь! Они были талантливы, трудолюбивы, умели торговать.

– Хватит! Хватит! Ты, наверное, хочешь, чтобы я заснул после доброго обеда, и для этого рассказываешь про своих этрусков.

Внезапно он придал лицу озорное выражение и резким движением засунул за шиворот Клавдию финик, а потом заговорщически подмигнул остальным и толкнул локтем Эннию Невию, чтобы она сделала то же самое.

И пока Клавдий с неподдельным удивлением оборачивался, ему в плечо ударила спелая слива. Он еще раз обернулся – и, ко всеобщему удовольствию, Мессалина запустила в его спину орехом. Не заставили себя ждать Макрон и Петроний, принявшиеся бросать со стола все, что попадало под руку.

Клавдий, растерявшись, но не обидевшись, немного замешкался, а чуть погодя принял условия игры:

– Вот как! Вы на меня охотитесь? Ну хорошо, тогда я убегаю!

Он вскочил со своего места, подбежал к жене и быстро спрятался за ее спиной, присев на корточки и обхватив голову руками.

Гости одобрительно зашумели, и, ко всеобщему восторгу, Калигула воскликнул:

– Макрон! Пусть квестор государственной казны ежегодно выдает по два миллиона сестерциев моему дяде, Клавдию. Во имя Геркулеса! Брат Германика не должен жить между этрусками и нищетой!

В этой суматохе Энния улучила момент и подошла к Калигуле. Она взяла его руку и прежде, чем поцеловать, слегка сдавила ее своими белыми зубами.

Калигула издал удивленный возглас, в ответ на который она положила руку ему на плечо и нежно улыбнулась:

– Ты испугался, мой повелитель? Калигула отрицательно покачал головой и нежно посмотрел на нее, а Энния страстно добавила:

– Я хотела укусить и поцеловать тебя, мой единственный супруг.

Калигула почувствовал, как в нем закипела кровь: Энния знала, на какие струны отзывались его чувства.

Император пылко сжал руку любовницы:

– Но твой муж не я.

– Нет, – жарким шепотом проговорила Энния, – мой муж – ты, а не Макрон.

Энния Невия выиграла в этот день битву за обладание Калигулой.

В услужливой суете слуг и рабов, принесших столы двух дам и тоги мужчин, которые они сложили на софе, стоявшей в углу триклиния, в неразберихе прощальных любезностей случилось так, что Валерия Мессалина и Энния Невия случайно оказались рядом друг с другом.

– Не ревнует тебя твой Макрон из-за удивительной благосклонности, которую оказывает тебе божественный Гай? – спросила Мессалина, поправляя складки великолепного кармазинного палия с желтой каймой.

– Не больше, чем Клавдий к центуриону Кальпурниану и к сенатору Персику, – парировала супруга Макрона, бросив язвительный взгляд на дочь Мессалины.

– Макрон готовится стать консулом? – с иронией в голосе продолжала спрашивать Мессалина.

– Лучше скажи, новоявленная Европа, к чему готовится твой Зевс, превратившийся в быка? – в свою очередь задала вопрос Энния Невия.

Мессалина резко обернулась, а потом сделала вид, что разглаживает кайму своего папия на левом плече.

Овладев собой, она желчно и холодно проговорила:

– А может быть, Макрон не станет консулом.

– Кто знает?

– Я знаю! До встречи, Энния.

– До встречи, Валерия.

– Твой муж никогда не будет консулом! – напоследок не удержалась Мессалина.

Глава III. Борьба за консульство

Прошел месяц после событий, описанных в предыдущей главе.

Сдержав слово, император Калигула побывал на островах Пандетерия и Понта, откуда привез в Рим прах своей матери и брата. С пышной торжественностью урны с их пеплом были помещены в мавзолей Августа.

В течение этого месяца сын Германика во многом оправдал надежды римлян, доверявших ему верховную власть.

Правителем он был милосердным и щедрым: народ в это время увидел захватывающие гладиаторские бои и увлекательнейшие представления на любой вкус. Сословие всадников расширилось, приняв в свои ряды самых достойных граждан Италии, Испании и Галлии. Кроме того, были восстановлены в правах многие незаслуженно гонимые представители этого сословия.

Доносов и доносчиков он не терпел, вынеся на всеобщее обозрение множество тайных писем, оставшихся после Тиберия, он поклялся всеми богами, что не читал ни одного из них и, к бурному ликованию собравшейся толпы, велел сжечь все эти бумаги.

Но в частной жизни император отнюдь не старался заботиться о своей репутации. Вечера, которые он проводил в кутежах с актерами, кравчими и куртизанками, порой заканчивались оргиями, продолжавшимися до утра. Была в нем и страсть к различным сценическим представлениям, причем Цезаря занимали в них отнюдь не заезды колесниц или танцы.

Впрочем, эти ночные развлечения никем и нигде не осуждались – верно, потому, что они вовсе не были предназначены для широкой огласки и, еще вернее, потому, что, к стыду римлян, с их стороны было бы несуразно требовать от принцепса строгого благонравия в ту пору, когда бедные и богатые, плебеи и патриции – все жили между распущенностью и пороком.

Единственным человеком, осуждавшим безнравственность императора, была Энния Невия, которая больше всего на свете боялась потерять своего молодого возлюбленного. Терзаемая этим страхом, она никак не могла убедить себя, что роскошная суэта Рима была для нее лучше мрачного заточения на Капри.

Однако, пока ее венценосный любовник, несмотря на измены, сохранял прежнюю любовь и нежность к давней избраннице, она – не без мудрого совета Макрона – была готова мириться с душевной болью и прощать частые отлучки Гая Цезаря.

Более серьезные страдания ей причиняла Мессалина, очевидным намерениям которой способствовали не только распутные нравы Вечного города, но и родственные узы, связывавшие ее с императором. Энния Невия пришла к мысли, что малопрстойные развлечения Калигулы не так для нее опасны, как возможная интрига между Гаем и супругой Клавдия.

До сих пор разные обстоятельства препятствовали исполнению желаний Мессалины.

Во-первых, ее малолетняя дочь Оттавия недавно заболела на вилле в Сабини, куда ее отвезли для летнего отдыха.

Мессалина, еще в молодости доказавшая свою безнравственность, все же была еще не настолько развращена, чтобы забыть материнские чувства. Кроме того, здесь ей пришлось действовать с оглядкой на мужа и сплетни горожан. Итак, в данное время она была прикована к постели дочери, которая, несмотря на усилия всей семьи, выздоровела лишь к пятнадцати годам.

С другой стороны, сам Калигула, днем занятый общественными делами, а ночью – увеселениями, был не очень-то доступен для Мессалины, явные цели которой вынуждали найти время и место для конфиденциального разговора с императором: задача трудновыполнимая, поскольку на улице его всегда сопровождала толпа поклонников, а дома он находился либо

на очередном пиршестве, либо под пристальным надзором ревнивой и насмерть перепуганной Эннии Невии.

Тревожась за будущее, она то и дело просила Цезаря освободить от должности прежних двух консулов, Ацеррония и Петрония, чтобы он мог занять их место в паре с ее мужем, Невием Макроном, однако император всякий раз ссылаясь на необходимость соблюдения старый обычай, согласно которому консулов на следующий срок – с июля по декабрь – должен был назначить сенат. Таким образом, у него существовали веские доводы против немедленного удовлетворения ее просьбы, если же она продолжала настаивать, то он выходил из себя и заканчивал разговор неизменным обещанием развести ее с Макроном и сделать Августой.

Вот почему Энния Невия жила в постоянном страхе, от которого искала спасения в смутной надежде на то, что когда-нибудь настанет час ее блистательного триумфа.

Так она встретила календы мая 790 года по римскому летоисчислению, когда народ беззаботно отмечал четвертый день праздника Флореалей, что начался в четвертый день майских календ (28 апреля) и должен был продлиться шесть дней, до пятого после девятого дня (3-го по новому стилю) мая.

В первый майский день, продолживший торжества в честь богини Флоры, покровительницы цветов, трав, плодов и фруктов, в Риме собралось немало деревенских жителей. Граждане тридцати одной сельской трибы, все землевладельцы Лация, съехались сюда, чтобы принести жертвы в храме богини, возведенном у подножия северного склона холма Квиринал. Многие стремились и к алтарю, расположенному между Квириналом и районом Публике, на склоне Авенти некоего холма.

Каждый день праздника в изящном и просторном цирке Флоры, возвышавшемся в долине между Пинцием и Квириналом, давались по два зрелищных представления.

С утра до первого часа пополудни многочисленная ватага полуголых проституток устраивала охоту на ланей, зайцев, косуль и прочих безобидных тварей.

В час дня на арену выступал отряд полностью обнаженных представительниц той же профессии, которые изображали борьбу атлетов и гладиаторские игры.

Оба зрелища привлекали такое несметное множество людей, что городские эдилы были вынуждены нарушать традицию, предусматривавшую по три дня послеобеденного показа для каждого из этих состязаний, и назначить сдвоенный, то есть ежеутренний и ежевечерний, порядок их проведения.

В первый день мая по-весеннему ласковое солнце сияло в синем небе. В городе продолжалось шумное веселье. По улицам гуляли компании празднично одетых мужчин, женщин и подростков, которые оживленно переговаривались, подмигивали друг другу и старались задеть прохожих своими вольными, но беззлобными шутками. Чаще всего их жертвами становились те, кто вместе с многочисленными толпами народа спешил к стадиону. Последних было нетрудно отличить: почти все они имели на головах цветочные венки, а в руках держали букеты роз, фиалок, олеандров и других цветов, распространявших в утреннем воздухе свой чудесной аромат.

В цирке Флоры уже началось первое представление.

Больше тридцати тысяч зрителей тесными кольцами заполнили его ступенчатые ряды, походившие сверху на огромную цветочную корзину. В ней пестрели яркие тоги, палии, лацерны, туники, столы, вуали и другие праздничные наряды. А тысячи возбужденных голов, смешавшихся в один ровный гул, напоминали жужжание пчелиного роя над благоухающим цветником.

Многие семьи сразу принимались за завтрак, принесенный из дома. Остальные грызли орехи, лузгали семечки, смачивали горло вином, медом и напитками, настоянными на душистых травах.

Сотни выловленных на воле зайцев и зайчат, обезумев от непривычного шума, носились по арене, некоторые останавливались, настораживали свои длинные уши и, почуяв опасность, задавали стрекача, а вскоре опять замирали, притаившись под одной из колонн или в дальнем углу цирка.

Прелестные охотницы, одни в коротких туниках, открывающих грудь и ноги до середины бедер, другие в настоящих, а чаще в фальшивых шкурах пантер и тигров, обмотанных вокруг талии и по возможности обнажавших тело, преследовали добычу и поражали ее из маленьких луков.

Каждая метко пущенная стрела заслуживала одобрительные возгласы и аплодисменты зрителей; однако подлинная буря восторгов разражалась тогда, когда кому-нибудь удавалось подстрелить зайца на бегу.

Одной из наиболее удачных казалась куртизанка, принятая в самом высшем обществе, двадцатипятилетняя красавица по имени Пираллида.

Это была довольно высокая темноглазая блондинка, голову которой покрывал веночек из фиалок, а голубой наряд с серебряной бахромой едва прикрывал гибкое тело. Среди сотни других охотниц она выделялась и красотой, и удивительной меткостью.

– Слава Пираллиде! Ура Пираллиде! Слава восхитительной Пираллиде! – то и дело слышалось в цирке.

И еще одна участница представлений, может быть, не столь заметная в охоте на зайцев, но зато широко известная в схватках между людьми, привлекала неизменное внимание и шумное одобрение публики. Она не отличалась высоким ростом, а, благодаря пышным формам, выглядела еще ниже, чем была на самом деле.

Ее смуглое лицо не было наделено правильностью черт, но этот недостаток во многом искупался огромными глазами, черными и блестящими, как уголь, горевший пламенем жгучей страсти.

Эти сверкающие глаза в народе назывались «звезды Лициции», потому что их обладательницей была знаменитая проститутка Лициция.

У Лициции была пропорциональная, хотя, пожалуй, тяжеловатая фигура, необычно для женщины волосатая: волосы росли у нее и под мышками, где пучки густой растительности выбивались из-под красивых, сильных рук, и даже над круглым пупком, откуда поднималась узкая полоска нежного пуха и, смеясь, проползала между полными, тугими грудями.

Белоснежная звериная шкура, эффектно контрастировавшая с гривой ее черных волос, была перехвачена лентой на правом плече и наискось сходила к правому бедру, где соединялась шнурком из воловьей кожи.

Несмотря на полноту, Лициция была очень подвижна: она демонстрировала сложные гимнастические сальто, из которых ловко поражала цель.

За это ее каждый раз награждали криками:

– Ловкая Лициция! Толстуха Лициция! Да здравствует Лициция! Да здравствуют звезды Лициции!

К началу третьего часа (9 часов утра) охота на зайцев закончилась, а пока готовилась охота на косуль, хор из ста двадцати мальчиков и девочек, сопровождаемый игрой на флейтах и цитрах, в полной тишине исполнил гимн богине Флоре, покровительнице любви и новой жизни.

О Флора, аурой золотистой
Ласкающая людские лица,
Явись на огненной колеснице
Дневного диска!

Всю зиму верили мы, что, внемля
Многоголосому пенью хора,
Придешь ты снова на нашу землю,
Богиня флора!

Мы просим жаркой любви.
И это Желанье наше единодушно
С мольбой всего, что стремится к свету
На почве южной!

Таковы были первые строки гимна, сочиненного, вероятно, одним из бесчисленных стихотворцев того времени, которые, будучи далеки от ясной образности и высоких мыслей, все как один мечтали превзойти славу Лукреция, Катулла, Вергилия и Горация.

И неизвестно, чем закончилось бы выступление хора, если бы на противоположной стороне цирка не началось какое-то смутное волнение, вдруг разразившееся громом аплодисментов и дружных оваций, вскоре подхваченных всеми зрителями:

- Ура Цезарю!
- Сальве, Гай Цезарь!
- Сальве, император!

Калигула появился в императорской ложе и остановился в ее глубине.

Все присутствовавшие вскочили на ноги, стали размахивать платками, вуалями, тогами и палиями, вкладывая всю силу легких в приветствия:

- Сальве, Гай Цезарь!
- Да здравствует род Германика!
- Ура императору!

Стоя во весь рост, Калигула отрешенно смотрел перед собой. Сердце его учащенно билось, лицо побледнело, редкие слезы – чуть ли не единственный раз за всю жизнь – текли по щекам.

Что он видел в этот миг? Может быть, он думал о своем знаменитом отце, прославленном победителе тевтонских варваров, погибшем всего в тридцать четыре года и оплаканном с такой беззаветной преданностью римским народом, что одна из волн той великой любви докатилась даже до его сына, еще ничего не сделавшего, чтобы заслужить ее? Может быть, думал о своей матери, невинной жертве тирана Тиберия, скончавшейся в заточении на далеком острове? А может быть, о своих братьях Нероне и Друзе, не достигших расцвета лет и умерших от рук жестокого деспота? Или о нескончаемых серых буднях, проведенных на мрачном Капри с его душливой атмосферой подозрительности и страха?

Кто смог бы пересказать его мысли? Кто знает, что он чувствовал, стоя с дрожащими губами и со слезами на глазах?

На его голове была корона из позолоченной бронзы, плечи укрывала искусно расшитая императорская хламида, на поясе висел кинжал, рукоять и ножны которого были усыпаны изумрудами, сапфирами и рубинами.

Некоторое время Калигула стоял неподвижно, точно зачарованный видом огромной пестрой толпы, приветствовавшей его.

Наконец, сделав усилие над собой и твердыми шагами подойдя к парапету императорской ложи, он в знак особой благодарности приложил правую руку ко рту и три раза изящно повел головой слева направо.

В ответ со ступеней цирка раздались новые, еще более восторженные рукоплескания.

Император дважды повторил свой жест. То же самое за его спиной проделали оба консула – Ацерроний и Петропий Негрип, а также Луций Авл Вителлий, Тиберий Клавдий Друз и Невий Сарторий Макрон.

Так прошло несколько минут, прежде чем Калигула устроился на мягком пурпурном сиденье пульвинария. Арэпа уже была заполнена бегающими по ней ланями и косулями. У открытых загонов в вольных позах расположились охотницы, вооруженные легкими луками и маленькими стрелами в колчанах. Две сотни их блестящих глаз выжидательно следили за императорским подиумом.

Постепенно толпа успокоилась. Все внимание теперь было приковано к окружению императора. И вот Гней Сентий Сатурнин, один из куринальных эдилов этого года, решил, что настал подходящий момент для начала игр. Он махнул рукой небольшой группе воыныщиков, стоявших неподалеку от загонов, и они заиграли, объявляя открытие охоты.

Зрелище началось. И хотя многие охотницы еще не успели как следует отдохнуть после предыдущего представления, присутствие императора удвоило их азарт: каждая старалась отличиться перед ним, показать всю свою ловкость, красоту и меткость.

Калигула же не мог не отвлекаться: почти всех присутствовавших куртизанок он видел впервые, а потому ежеминутно поворачивался к свите, интересуясь той или иной из них. Тогда ему на помощь пришли Ацерроний, Петромий и Вителлий, которые распорядились, чтобы эдилы принесли грифельную доску, и сами написали на ней имена участниц представления. Как оказалось, им были неизвестны только трое выступавших: Альбуцилла, Лаодиция и Лициция.

Неожиданно император попросил у Клавдия рассказать о происхождении флореальских игр.

– Пока ты не начал надоедать с происхождением твоих любимых этрусков, – с усмешкой добавил он.

– Ну, не знаю, что и сказать, – широко улыбнувшись, ответил Клавдий. – Ведь истоки этих игр находятся именно в истории этрусков! Но я боюсь снова наскучить тебе и не буду заходить так далеко.

– И правильно сделаешь, дядюшка Клавдий!

– Тогда я должен заметить, что Флореальские игры издавна посвящаются могущественной покровительнице нашего народа, который обязан ей богатством и процветанием; основываясь на древнейших анналах, я могу утверждать, божественный Гай, что этот праздник возник не позже Консуалий, Фуриналий, Фауналий, и Кампиталий.

И Клавдий уже начал пересказывать вступление к своему любимому трактату, когда внимание Калигулы привлекла большая ложа, находившаяся справа от императорского подиума. В ней, так же как и в ложе слева, сидели самые знатные представительницы римского общества: жены сенаторов, патрициев, зажиточных всадников и богатых ростовщиков. Там, среди матрон, блиставших лучшими нарядами и драгоценностями, Калигула разглядел свою тетю, Валерию Мессалину, которая уже давно не сводила глаз с императора.

Как только их взгляды встретились, Калигула сразу охладел к истории и перебил Клавдия:

– Все-таки, мой всезнающий дядя, твой трактат чересчур зануден. Когда-нибудь я постараюсь выслушать его от начала до конца, а сейчас, чтобы не заснуть, пройду к соседней ложе и заодно поздороваюсь кое с кем.

Он повернулся к свите и, показав знаком, что хочет сойти с подиума, добавил:

– А вы подождите меня здесь.

Покинув пульвинарий, Калигула вскоре появился в ложе, которая была справа. Появление императора вызвало там немалый переполох: зрительницы, сидевшие в первых рядах, сразу повернули головы и стали возбужденно переговариваться между собой.

Матроны справедливо полагали, что юный принцепс навестил их ложу для разговора с одной из них. И, наперебой стараясь угадать имя избранницы, каждая в душе была уверена, что такая честь будет по праву принадлежать ей.

Калигула же, почтительно поздоровавшись со всеми дамами и выслушав их ответные приветствия, с подчеркнутой любезностью поклонился жене консула Ацеррония, пожал руку Гнею Домицию Энобарбу, женатому на его сестре Агриппине, и, наконец, направился к правой колонне, рядом с которой сидела просиявшая от удовольствия Валерия Мессалина.

– Нравятся ли тебе игры, моя дорогая тетушка? Не скучаешь? – спросил император благодушно.

– Не скучаю, потому что увидела тебя. Я знала, что ты здесь будешь. Клавдий мне сказал под большим секретом.

– У моего болтуна дяди нет никаких секретов от тебя? Даже если они касаются принцепса?

– Прошу тебя, божественный Гай, не держи на него зла! Он так мне предан.

– Неужели твоя неотразимая красота имеет столько власти над ним?

– Умоляю, Гай, не сердись! Не заставляй меня проклинать мою внешность и влияние, которое она оказывает на такого простодушного человека, как мой супруг.

– Но я и не сержусь. Разве ты не видишь? – тихо произнес Калигула, облокотившись на парапет и наклонившись так близко к лицу Мессалины, что она почувствовала его жаркое дыхание. – Наоборот, я благодарен моему дяде за его бестактность, которая подарила мне счастье встретить тебя, моя очаровательная тетушка!

– О, верно, счастье твое не так велико! Иначе ты уже давно позаботился бы о том, чтобы повидать твою бедную Мессалину, которой больше всего на свете хочется быть рядом с тобой. Но, если вправду глаза отражают то, что чувствует сердце, и если мои глаза меня не обманывают, если не я сама внушала себе то, что читаю в твоих глазах, это твое желание. Раньше я его не видела.

Мессалина говорила все тише, пристально глядя в глаза Калигулы, который молча и зачарованно слушал свою прелестную собеседницу, а потом, внезапно прервав ее, прошептал ей на ухо:

– Да, да. Все так. Ты угадала. Ты услышала бессловесный язык любви. Я люблю. Я хочу тебя. Твоя божественная красота сводит меня с ума.

– Почему же ты не приходил?

– Заботы о делах государства. В первое время их так много. Все дела и дела.

– И страх перед ревностью Эннии Невии!

– Не говори мне о ней! Она меня раздражает. Я уже ненавижу ее.

– И все-таки не можешь разорвать цепь, которой она приковала тебя.

– Это мы еще посмотрим! Знай, с тех пор, как я тебя встретил, мною владеет только одна мысль – быть любимым тобой, прекраснейшая моя тетя, первая из римских красавиц...

– Счастье мне, если кажусь тебе такою! О, Гай, если бы ты знал, как я тебя люблю! Как люблю, как желаю тебя!

Наступило молчание.

– Когда же ты придешь ко мне? – вдруг спросила Мессалина.

– Когда хочешь. Сегодня ночью ты примешь меня?

– Хорошо, сегодня ночью. Между дворцом Тиберия, в котором ты живешь, и...

– Это ли дворец для владыки римской империи! Тиберий всегда был скрягой. Вот я построю дворец, достойный императора! – воскликнул Калигула, но тут же добавил извиняющимся тоном:

– Прости, что перебил тебя. Продолжай!

– Так вот, между дворцом Тиберия, в котором ты живешь, и домом Августа, который занимаем мы, есть тайный подземный ход. В дворцовом саду одна дверца всегда закрыта. Она ведет к портику, находящемуся за Палатинским храмом. Оттуда ты сможешь выйти прямо к нашему дому.

– Прекрасно. Я возьму у мажордома ключи от этой дверцы...

– ...И ровно в полночь окажешься в объятиях, которые давно ожидают тебя...

– ...И в которые я брошусь, чтобы всю ночь целовать мою восхитительную тетюшку!

Они снова замолчали. Вскоре Калигула, у которого от неудобного положения уже затекли руки, выпрямился и, прощаясь с Мессалиной, произнес вполголоса:

– До полуночи.

И громко добавил:

– Прощай, моя уважаемая тетя, и да будут боги благосклонны к тебе!

– Прощай, божественный Гай! – сказала Мессалина так, чтобы ее слышали окружающие, – славы и здоровья тебе, надежда империи!

И, не удержавшись, чуть слышно добавила:

– Остерегайся ревнивого oka Эннии Невии. Калигула сделал презрительный жест, поклонился Мессалине и стал подниматься по лестнице, мимоходом поприветствовав супругу Ацеррония и нескольких сенаторов, он дружески пожал руку Гнею Домицию Энобарбу и, наконец, задержался около Паоло Фабия Персика, который все предыдущее время мрачно наблюдал за Калигулой и Мессалиной. Но, по мере того как император приближался к нему, морщины на лице старого подхалима постепенно разглаживались. Вскоре у него появилось выражение испуга, быстро сменившееся его обычной слащавой улыбкой.

– Сальве, божественный император Гай Цезарь Август! – заискивающе произнес Паоло Персик, когда Калигула подошел к нему.

– Сальве, Персик, самый богатый человек моей империи.

– О, что ты! Не верь. Не верь слухам.

– На днях я загляну в твой кошелек!

– О Цезарь! Владыка Рима. Владыка всего мира! Ты же знаешь... все скромное состояние и вся скудная кровь твоего преданного слуги Паоло Фабия Персика принадлежат тебе.

– Благодарю тебя за эти слова, мой добрый Персик! – удовлетворенно проговорил Калигула и, на прощанье пожав руку ростовщика, вышел из ложи.

В то же мгновение Персик выпрямился и с выражением превосходства на лице оглядел патрициев.

Император же направился к подиуму, но почти сразу натолкнулся на смертельно бледную, обессиленно прислонившуюся к мраморной стене коридора Эннию Невию.

– Что случилось? Что с тобой? – нахмурившись, спросил Калигула.

– Я... несчастнейшая из женщин, – с трудом выговорила она. – Я все видела. Ты меня предал.

– Ради Марса Мстителя! – посмотрев по сторонам, угрожающе прошептал император, – замолчи. Не устраивай сцен. Ради всех богов!

– Нет... не волнуйся, божественный Цезарь, – тихо проговорила Энния, и ее прекрасные глаза наполнились слезами. – Никаких сцен больше не будет. Я тебя слишком люблю... тебя, а не эту императорскую хламиду. Я в отчаянии. Но пусть оно тебя не огорчает. Я хочу попрощаться с тобой... чтобы уйти... навсегда!

С трудом выговорив эти слова, она вдруг быстрым движением откинула край своего мехового палия и показала Калигуле маленький острый кинжал, который сжимала в правой руке.

– Ради богов! Не делай глупостей! – испуганно пробормотал Калигула. – Отдай мне кинжал!

– Нет, мой бывший возлюбленный... прощай навсегда, – ответила Энния и бросилась бежать вниз по лестнице, которая вела к аркадам цирка.

Хотя и свирепым характером обладал Калигула, кровь и порок еще не стали постоянными спутниками его жизни и не настолько очерствили душу, чтобы он не почувствовал жалости к этой женщине, которую когда-то любил и которая до сих пор так преданно любила его, что предпочитала умереть, чем потерять его взаимность.

Что-то в нем дрогнуло. Он стремглав бросился вдогонку за Эннией, настиг ее через несколько ступеней и, схватив за руку, почти прокричал чужим, срывающимся голосом:

– Постой! Не заставляй меня терять голову, Энния моя, дай мне кинжал! Ты моя единственная любовь. Не терзай мою совесть.

Калигула выхватил у нее кинжал и с силой швырнул в пространство под лестницей, где он воткнулся в песчаную насыпь, покрывавшую землю между нижними аркам.

От отчаяния и беспомощности Энния разрыдалась с новой силой. В свою очередь, Калигула возобновил угрозы.

Тем временем Ацерроний Прокул и Луций Вителлий, чьи места на императорском подиуме находились ближе других к выходу, встали и, привлеченные непонятным шумом, выглянули за полог драпировки, отделявшей пульвинарий от коридора.

Заметив их появление, Калигула сразу переменял тон и громко сказал:

– Ну, приходи в пульвинарий! Не заставляй себя упрашивать. Твой муж ждет тебя. И, обратившись к двум неожиданным свидетелям их ссоры, добавил: – Это вы, друзья? А вот Энния Невия не решается присоединиться к нашему обществу!

Оба мужчины восприняли эти слова как предложение проводить в пульвинарий смутившуюся женщину; перебивая друг друга, они воскликнули:

– Но, Энния, тебя просит император!

– Подумай, какую честь тебе оказывает Цезарь!

На звук их голосов из-за полога высунулись головы Понция Негрина и Сартория Макрона.

Растерявшейся Эннии ничего не оставалось, как взять себя в руки и постараться произнести как можно более спокойно:

– Да, конечно, иду, хотя и не заслуживаю такой чести – подняться на самый императорский подиум!

Однако, несмотря на сбивчивую речь, ее лицо прояснилось, когда она вдруг осознала, рядом с кем предстанет перед всеми зрителями: наконец-то сбывались ее самые сокровенные мечты.

Наскоро смахнув слезы и поправив растрепанные волосы, Энния Невия в предчувствии неожиданного триумфа взойшла на императорский подиум, сопровождаемая Калигулой и завистливыми взглядами всех женщин, присутствовавших в цирке.

Глаза Мессалины, к которой Калигула, уступивший почетное место Эннии, был вынужден повернуться спиной, сверкнули злостью, становившейся еще более яростной, когда соперница торжествующе посматривала в ее сторону и что-то говорила императору.

По ее красноречивой мимике Мессалина догадалась, что Энния объясняла свое появление в цирке.

Так и было на самом деле. Энния рассказывала Калигуле о том, что она еще не видела этого зрелища и поэтому решила пойти в цирк, что по своему незнанию она оказалась в закрытой галерее, где лучшие места для женщин были уже заняты, что арену ей загораживали чужие спины, что в поисках свободного пространства она случайно взглянула вниз и на нижнем ярусе, прямо под собой, увидела Цезаря и Мессалину, став таким образом невольной свидетельницей их разговора, что в смятении она бросилась в коридор, где и встретил ее Калигула.

Мессалина ничего этого не слышала, но с болью в сердце поняла, что Энния вновь нанесла ей поражение.

Калигула же, охваченный противоположными чувствами, присматривался к знакомым чертам Эннии Невии и с удивлением обнаруживал в ней романтический ореол отчаяния и самопожертвования, которым она только что пробудила его былую нежность.

Спустя пару минут Энния прикоснулась своей маленькой ножкой к ноге императора и, обменявшись с ним несколькими красноречивыми взглядами, шепнула своему венценосному любовнику:

– Прости меня, божественный. Умоляю тебя, прости.

Эти слова и знакомое обоим касание произвели ожидаемый эффект. Мир был восстановлен, а Мессалина – по крайней мере на сегодня – забыта.

Тем временем охота на косуль и ланей подходила к концу. В ней опять отличились Пираллида и Лициция, сделавшие наибольшее количество метких выстрелов.

Приняв полагающиеся почести, охотницы, предшествоваемые двумя эдилами, направились к императорскому подиуму, чтобы просить Цезаря присутствовать на дневном представлении, где они должны были выйти на арену полностью обнаженными и, вооружившись, как гладиаторы фракийцы и санниты, вступить в единоборство друг с другом.

– Хорошо! Посмотрим... Посмотрим! – произнес Калигула, сладострастно оглядывая то одну, то другую куртизанку.

Затем он спросил:

– Кто же будет фракийцем?

– Я! – отозвалась смуглая плотная Лициция.

– И, следовательно, – продолжал император, обращаясь к стройной блондинке Пираллиде, – ты будешь саннитом?

– Я буду саннитом, – улыбнувшись, подтвердила та.

– Прекрасно, я приду. Победительница получит в подарок ожерелье из топазов и изумрудов. Но учтите, я хочу, чтобы побежденной была сохранена жизнь!

Обе кивнули и распрощались.

Вскоре Калигула, сопровождаемый Эннией Невией и всей своей свитой, под шумные рукоплескания зрителей пошел к выходу из цирка, где, спускаясь по крутой лестнице, как бы в поисках опоры, облокотился на услужливо подставленную руку Луция Вителлия, которому шепнул на ухо:

– Тебе, дорогой Вителлий, предстоит позаботиться о том, чтобы Пираллида и Лициция присутствовали у меня на ужине. Думаю, победительница предстоящего состязания вправе рассчитывать на завтрашний вечер. А побежденная – на послезавтрашний.

– Не сомневайся, божественный, любое твоё пожелание я исполню, как волю самих верховных богов, – почтительно ответил Вителлий, польщенный оказанным доверием.

– Обязанность хорошего принцепса, – усмехнувшись, продолжал Калигула, – состоит в том, чтобы познать каждого подданного. А каждую подданную – в особенности.

Луций сделал вид, что не заметил оскорбительного намека, скрытого в шутке повелителя.

Обед императора был короче, чем обычно, поскольку ему предшествовал продолжительный разговор с Эннией, которая никак не хотела мириться с тем, что Макрон все еще не стал вторым консулом. В конце концов, снова сославшись на невозможность такого ответственного решения без участия сената, Калигула уже откровенно избегал этой темы за столом, а сразу после обеда отправился в цирк Флоры.

Энния не решилась его сопровождать.

Бои гладиаторов собрали еще больше зрителей, чем утром, и они с восторгом встретили возвращение принцепса.

Поединок между Пираллидой и Лицицией длился двадцать минут. На голове у смуглянки блеснул стальной шлем с двумя черными перьями на гребне, в левой руке она держала квадратный щит, а правой сжимала короткий кривой меч с кривым лезвием, доспехи ничуть не скрывали ее наготы.

Белокурая куртизанка вышла на арену в легком стальном шлеме, с большим квадратным щитом, прикрытая стальным поножием от левой щиколотки до колена и железным браслетом на правой руке; вооружена она была широким тесаком.

В бою обе противницы доказали свое мастерство: молниеносно нанося удары и умело отражая их, они не раз заслужили искренние аплодисменты римлян.

Но вот Лициция, легко раненная в левую руку, с сокрушительной силой поразила правое бедро Пираллиды и повергла ее на землю, чем вызвала целую бурю неистовых криков ценителей гладиаторского мастерства и ее привлекательности.

Однако почти сразу взметнулись десятки тысяч рук с повернутыми вверх большими пальцами, вложенными между указательными и средними: это был знак, требовавший сохранить жизнь Пираллиде.

Вслед за тем началась атлетическая борьба между сорока обнаженными куртизанками, часть из которых носили на голове голубую повязку, а остальные выступали с белой тесьмой на лбу.

Гай Цезарь не стал дожидаться конца представления. Справившись о самочувствии Пираллиды, он поручил эдилам заботы о ее здоровье и покинул цирк.

После непродолжительного ужина ровно в полночь он встал из-за стола и, пройдя через портик, смежный с храмом Венеры Палатинской, вышел в сад возле дома Августа, где тотчас очутился в объятиях Мессалины.

– По правде говоря, – не разнимая рук, сказала жена Клавдия, – после сегодняшней сцены я думала, что тебе предстоит провести вечер с Эннией Невией.

– Энния мне опротивела, ей пора вернуться на супружеское ложе. Не говори мне о ней!

И, пока они осторожно пересекали сад, он, обняв правой рукой ее тонкую талию, тихо добавил:

– Я вижу, ты действительно любишь меня, раз после того, что случилось, не забыла о нашей встрече. Я боялся, что не застаю тебя.

– Ты меня еще не знаешь, – поцеловав его в губы, ответила Мессалина. Бесшумно прикрыв за собой дверь, ведущую из сада в дом, она повела его по темному коридору, откуда они попали в одну из самых укромных комнат бывшего августовского жилища.

Мысль о новом адюльтере возбуждала в Мессалине две страсти: желание близости и тщеславие.

Калигула, как уже говорилось, был очень хорош собой. Ни тонкие ноги, ни ранняя плешь, ни свирепое выражение лица, как ни странно, не умаляли благородного изящества и красоты этого юноши, который вдобавок ко всему был императором.

Мессалина видела в нем прежде всего мужчину. Но именно поэтому его желанные объятия открывали ей смутную, но заманчивую перспективу счастливого будущего, о чем она мечтала еще тогда, когда связала себя с бедным неудачником Клавдием, чье единственное достоинство заключалось в его знатном происхождении.

Прилагая все силы к тому, чтобы занять в душе Калигулы место, принадлежавшее Эннии Невии, она добивалась падения Макрона и взлета Клавдия. О более отдаленном времени она пока не задумывалась. Как там сложится ее судьба? Кто знает?..

Мессалина поступала как хорошая хозяйка, которая никогда не отказывает себе в некоторых удовольствиях, идущих на благо семейного очага.

Ночью супруга Клавдия доказала это. На Калигулу она потратила весь запас своего изощренного опыта в науке любви, которую постигла в совершенстве. Император не остался

перед нею в долгу. Апофеозом взаимного восторга друг другом стали его слова о том, что в июле ее мужу будут оказаны все положенные почести по случаю его назначения консулом.

Лишь на рассвете Гай Цезарь собрался покинуть гостеприимную комнату. Он уже прощался, когда в дверь неожиданно постучалась Перцения, служанка Мессалины, и испуганным голосом сообщила, что Клавдий желает видеть свою жену.

Калигула смутился. Одна Мессалина не потеряла присутствия духа: с самоуверенной улыбкой она попросила императора задержаться еще немного. Потом настежь открыла дверь и громко обратилась к Перцении:

– Что нужно моему доброму Клавдию? Передай, что я всегда рада ему. Ты разрешишь, божественный, войти моему супругу?

Не успела она договорить, как в комнату ворвался сонный и растерянный Клавдий. В руке он держал листок папируса. Он хотел что-то сказать, но Мессалина, легко прикоснувшись к его щеке, опередила его и с наигранным простодушием произнесла:

– Аве, мой добрый Клавдий, как ты себя чувствуешь? Хорошо спал? Как я рада видеть тебя в хорошем настроении. Только что о тебе справлялся сам божественный Цезарь! Он пришел сообщить нам добрую весть. Догадайся, какую? Он хочет, чтобы ты был избран консулом!

Пока она говорила, у Клавдия трижды менялось выражение лица: сначала оно было испуганным, потом удивленным и, наконец, – радостным.

– Как? Божественный Гай? Так это он к нам пришел? Ну, теперь мне все ясно! Я рад ему. Он наш владыка, а кроме того – хозяин этого дома, жилища великого Августа! В любое время дня и ночи я готов видеть его. Ах, извини, моя добрая Валерия. Прости меня, о божественный Цезарь... я должен просить о снисхождении.

– Но почему? Что случилось? – притворно изумившись, спросила Мессалина. – Почему ты просишь прощения?

Клавдий протянул ей листок папируса.

Она взяла его и, развернув, громко прочитала: «Проснись, Клавдий Друг, и посмотри, с кем твоя целомудренная жена Мессалина провела эту ночь».

– Какая низость! – воскликнула Мессалина, постаравшись изобразить на лице боль и отвращение. – И кого хотели оклеветать! Твою жену и божественного Цезаря, твоего племянника! Цезаря, который мне тоже приходится племянником!

– Ах! Я вновь прошу прощения у тебя и у моего августейшего племянника. Что за подлые клеветники! Какое гнусное письмо!

Он еще не раз вспомнил об огромной чести, оказанной ему Цезарем, и его недавние подозрения окончательно рассеялись.

Вскоре Калигула распрощался с Мессалиной и Клавдием. А три часа спустя он объявил сенату, что в оправдание огромного доверия, возложенного на него отцами города, он в июле принимает консулат и своим помощником выбирает Тиберия Клавдия Друза, своего дядю по отцу, назначение которого будет данью уважения к памяти великого Германика.

Энния Невия потерпела сокрушительное поражение.

Глава IV. В которой появляются Гай Кассий Херея, его сын Луций и Юлия Друзилла

В описываемые времена всякий, кто входил в город через Триумфальный мост, неизбежно оказывался на широкой улице, которая тянулась вдоль до Яникуленского моста, по пути пересекая часть Марсова Поля, известную как Кампо Миноре.

Улица Ретта – так она называлась – недаром считалась одним из чудес старого Рима. Славу она заслужила уже тем, что продолжала знаменитую Триумфальную улицу, бравшую начало у Триумфальных ворот.

По левую сторону улицы Ретта высился нескончаемый ряд мраморных изваяний, здания простой и величественной римской архитектуры чередовались с великолепными греческими скульптурами. Воображение путешественника поражали размеры Гекатонстилона, прославленного портика с галереей из ста колонн, удобной для встреч, прогулок и разговоров, выйдя из которой, человек попадал в тенистую платановую рощу с многочисленными изящными фонтанами и следовавшим за нею просторным портиком Помпея, излюбленным местом отдыха горожан. Миновав его, зритель справа от себя обнаруживал грандиозное и стройное здание театра Помпея, а слева видел курию, носящую его же имя. За театром Помпея открывался храм Фортуны-всадницы, а еще ближе к Тибру – прекрасный портик Октавии.

За курией Помпея находились портик Филиппа и храм Геркулеса-хранителя. Еще дальше вздымались громада цирка Фламиния, по бокам которого стояли роскошные храмы Аполлона и Беллоны; в стороне от них виднелись внушительные очертания театра Марцелла. И вот среди этих бесчисленных галерей, под кронами платанов и стенами зданий однажды в послеполуденный час собрались бессчетные толпы людей – матроны с дочерьми, патриции, клиенты, паразиты и просто всевозможный городской сброд, искавший здесь укрытия от первых порывов холодного ветра, предвестников долгого зимнего ненастья.

Пять месяцев минуло после событий, описанных в предыдущей главе. День перед календами ноября (31 октября) выдался пасмурным: небо с утра было затянуто мглистыми тучами, и, по народному поверию, это сулило студеную зиму. Тема, которую озабоченно обсуждали в портиках Филиппа, Помпея и Ста Колонн, была также печальна и безрадостна. Голоса звучали взволнованно, но приглушенно.

– Как он себя чувствует?

– Что слышно в городе?

– Есть надежда на выздоровление?

Этим и подобным вопросам не было числа.

Карикл, величайший врач, находит у своего августейшего пациента опасную лихорадку.

– Но есть луч надежды!

– Тем более что самочувствие его в последнее время немного улучшилось!

– И все-таки состояние еще очень тяжелое. На некоторые вопросы ни у кого не было ответа. Однако матроны, сенаторы, плебеи и клиенты не переставали ждать, что кто-нибудь принесет им радостную весть о выздоровлении больного.

Весь Рим искренне переживал внезапную болезнь Гая Юлия Цезаря.

В первый же вечер после ночи, проведенной с Мессалиной, император принимал у себя в триклинии Лицицию, победительницу гладиаторских игр. Несмотря на раненую руку, знаменитая куртизанка охотно присоединилась к императорской оргии.

Их распутное веселье закончилось лишь следующей ночью; но как ни старалась тщеславная амазонка завоевать сердце или по крайней мере приобрести прочную привязанность

принцепса, на этой арене ей пришлось смириться с полным поражением, незначительной компенсацией за которое были богатые воинские доспехи и пять тысяч сестерциев, полученных в награду за потраченные силы.

Гораздо больше Калигулу волновали пылкие поцелуи его очаровательной тети, Валерии Мессалины.

Третьей стороной любовного треугольника могла бы стать Энния Невия, но даже в этом качестве ей не удалось долго просуществовать. В один прекрасный день ее слепая ревность и униженные мольбы, одинаково раздражавшие Калигулу, довели бывшего любовника до состояния беспредельной ярости, и он громогласно объявил, что, поскольку он молод, всемогущ и свободен в поступках, больше не желает ни от кого зависеть; что не позволит держать себя на привязи и сам будет решать, когда и с кем ему заводить связи; что, наконец, пора Эннии позаботиться о законном муже; что Макрона он сделает консулом через год, а потом назначит императорским прокуратором в Египет.

Энния разразилась рыданиями, а Калигула в бешенстве выбежал из комнаты для свиданий, выкрикнув:

– Во имя богов! У меня добрый характер, но эти бесконечные упреки сделают меня кровожадным, как Тиберий!

Так закончился адюльтер императора и супруги префекта претория. Однако из самолюбия Энния вместе с Макроном остались в императорском дворце.

Мессалина праздновала победу. Она была теперь настолько уверена в своем влиянии на Калигулу, что порой представляла себе, как разойдется с Клавдием и станет женой принцепса.

Но каково же было оскорбление, нанесенное достоинству этой молодой, знатной и красивой женщины, когда всего через несколько дней она обнаружила, что не меньшей благосклонностью Калигулы пользуется куртизанка Пираллида, которая, едва оправившись от тяжелого ранения, явилась на прием к императору и произвела на него такое неотразимое впечатление, что стала желанной участницей всех его пиршеств и увеселений. Подобному успеху немало способствовало и то, что, гречанка по национальности, белокурая Пираллида была не только хороша собой, но и в совершенстве владела искусством танца, а также превосходно играла на цитре и пире. И, как ни сокрушалась Мессалина о непостоянстве племянника, она не могла ни вернуть его, ни повлиять на его времяпрепровождение.

Оставаясь по-прежнему твердым и уравновешенным правителем, Калигула все глубже погружался в отвратительные кутежи и оргии, для которых по ночам приглашал своего сверстника Авла Вителлия, мима Мнестера, вольноотпущенников Калисто и Геликона, трагика Аппелла, Луция Кассия Херею и других развратников. Последствием такой порочной жизни стала острая лихорадка, свалившая с ног двадцатипятилетнего императора.

– Вот уже четырнадцать дней, как болеет Август, – прогуливаясь по портику Ста Колонн, печально произнес тридцативосьмилетний мужчина с лицом, отмеченным благородной бледностью, одетый в латиклавий, который указывал на его принадлежность к всадническому сословию. – И чего только мы не предпринимали, стараясь восстановить его здоровье! Боги не могут не услышать мольбу всех народов земли!

– Ты прав, почтенный Атаний Секондо, – протирая глаза, ответил его спутник, маленький толстый плебей с заплывшим жиром темно-лиловым лицом и глуповатым взглядом, богатая одежда которого позволяла судить о его значительном состоянии. – Если богам безразличны дела людей, то они должны спасти нашего императора, обожаемого и бесценного сына римского народа.

– Верно, верно! – наперебой воскликнули сразу несколько оборванцев в грязно-белых потрепанных тогах, которые зарабатывали на жизнь ремеслом клиента у того или иного патриция, выполняя его мелкие поручения за стол и кров. – Цезарь нам как родной сын!

– И как родной отец! – с готовностью подхватил обрюзгший пьяница в нищенских лохмотьях, не оставлявших сомнений в том, что их владелец был параситом.

– Наш Цезарь! Он наш, сын прославленного Германка! – дружно заорали другие представители того же сброда.

– Кровь от крови, наш, – согласился всадник Атаний Секондо.

– Чрево от чрева, наш! – выкрикнул богатый плебей.

– Как всегда, прав Публий Афраний Потит, – наклонившись к уху плебея, заметил парасит, – самый щедрый и гостеприимный римлянин, достойный быть принцепсом сената!

Жирное лицо Афрания Потита расплылось еще больше от лести парасита, которого незаметно толкнул локтем высокий смуглолицый иудей с живыми глазами и щетинистой шевелюрой, плотно закутанный в тунику ростовщика:

– Вот это да! Глянь, как этот глупый боров надулся от твоей похвалы! Сдается мне, что сегодня он пригласит тебя на ужин!

– А знаете ли вы, – спросил Публий Афраний Потит, воодушевленный словами парасита, – сколько жертвоприношений было посвящено богам за то, что они помогли Гаю Цезарю взойти на престол?

– Сколько? Сколько?

– Сто шестьдесят тысяч! – воскликнул Потит и с таким торжеством оглядел слушателей, словно это он удостоился всех названных почестей. – Сто шестьдесят тысяч, я сам слышал от эдилов!

– Он это слышал от эдилов – какая редкая осведомленность в делах государства! – усмехнувшись, шепнул ростовщик на ухо параситу.

– Да здравствует Публий Афраний, самый проникательный и сведущий знаток римских обычаев! Браво, Потит, чье сердце целиком принадлежит Цезарю!

– Его любят все, – перебил всадник Атаний Секондо, – и число жертвоприношений, посвященных богам, – свидетельство тех чувств, которые вызывает у окружающих наш владыка Гай Юлий Цезарь Германик!

– Разве я его не люблю? – продолжал богатый плебей. – Как своего отца, которого уже нет, как свою жену и детей, которых еще нет. Я люблю его больше себя самого!

– Вот человек, достойный быть принцепсом сената! – громко произнес парасит, уважительно поглаживая плечо Потита, который влажными глазами посмотрел на бессовестного подхалима и вполголоса продолжил:

– У тебя добрая душа... но, прошу, не хвали меня слишком громко. Я к этому не привык и настолько смущен, что не знаю, как отблагодарить тебя.

– По-моему, ты нашел человека, который очень долго будет кормить тебя ужинами, – ухмыльнувшись, прошептал на ухо ростовщик параситу.

– Ну что? Что? Что нового? Какие известия, почтенный Кассий?

Эти вопросы, произнесенные сразу несколькими людьми, относились к молодому человеку, который, нетерпеливо расталкивая горожан, вошел в галерею. Он был молод, высок и весьма изящен. Его бледное, с правильными чертами лицо обрамляла короткая светло-каштановая борода. Этому юноше, одетому в изысканный греческий наряд, недавно исполнилось двадцать шесть лет.

Звали его Луций Кассий Херея: плебей по происхождению, он был сыном преторианского трибуна Гая Кассия Хереи. Его отец, храбрый военачальник, наделенный истинными добродетелями римского народа, решил, что сын его должен посвятить себя общественной жизни, для чего, потратив все свое небольшое состояние, нанял самых лучших римских преподавателей по грамматике, риторике и философии, а затем отправил сына в Афины, где, по обычаю своего времени, он мог бы совершенствоваться в красноречии. Однако Луций, который в детстве проявлял незаурядные способности к обучению, с годами оказался более

склонным к праздности и к порокам, одинаково распространенным как в Риме, так и в Греции, откуда он вернулся окончательным циником, и вскоре очутился в компании таких же бездельников, промышлявших сочинением хвалебных посланий для знати и состоятельных людей: этот труд вознаграждался щедро. Впрочем, когда у состоятельных магистратов появлялась нужда в какой-нибудь кляузе или даже в бессовестной клевете на своих врагов, то они прибегали к услугам тех же писак, готовых на любую низость ради легкого заработка.

Итак, вопреки ожиданиям и к глубокой скорби своего отца, Луций Кассий Херея связался с самыми отборными римскими подонками, в среде которых познакомился и подружился с благородным, но беспутным отпрыском Луция Вителлия, несколько месяцев назад сделавшим его завсегдатаем кутежей и увеселений императора.

– Говори! Говори!

– Просим тебя, Расскажи о здоровье божественного Гая!

– Ты, имеющий счастье видеть его, скажи нам, почтенный Луций.

Такие вопросы и просьбы со всех сторон сыпались на молодого Кассия Херею.

– Так вот, друзья мои, спешу сообщить вам радостное известие. Опасность миновала. Божественный Гай чувствует себя лучше, и Карикл, наш бесподобный врачеватель, говорит, что его здоровью уже ничего не угрожает.

Эта новость была встречена восторженными криками. Луция Херею обнимали, хлопали по плечу, целовали и просили еще раз повторить его слова.

– Да! Боги хранят Рим! – воскликнул Атаний Секондо. – Спасен божественный потомок Германика, наш великий и щедрый император, который восстановил достоинство и власть сената, возродил и возвысил сословие всадников, а плебейам вернул право быть избранными в центуриальные и трибунальные комиции! Спасен наш обожаемый правитель, отменивший непомерные налоги! С нами Август, наше сокровище! Так вот, слушайте меня, римляне! Сегодня я даю торжественную клятву богам, что в случае полного выздоровления Цезаря его верный слуга Атаний Секондо, рискуя жизнью, выступит гладиатором в амфитеатре!

Обещание было встречено аплодисментами и одобрительными возгласами.

В ответ на них Афраний Потит, находившийся в состоянии, близком к помешательству, выкрикнул:

– А я приношу торжественный обет верховным богам, что в день, когда божественный Гай Цезарь полностью оправится от болезни, я лишу себя жизни, потому что счастлив отдать ее во имя спасения нашего повелителя!

Грянул взрыв ликующих восклицаний. И громче всех мужество Афрания Потита превозносил парасит, которого богатый плебей взял под руку, сказав:

– Ты честный человек, и я приглашаю тебя сегодня ко мне на ужин.

– О великодушный! Да возблагодарят боги твою щедрость. А я всегда и везде буду прославлять твою добродетель!

– Говорил я, что он пригласит тебя на ужин? – прошептал иудей на ухо параситу. – А если сумеешь хорошенько обработать этого глупца, то тебя можно будет поздравить с богатым уловом сестерциев.

Он притянул к себе парасита и чуть слышно добавил:

– Сдается мне, что ты не только честный, но еще и проницательный человек. И сможешь справиться с некоторыми поручениями. На всякий случай запомни: Арон из Ефраима. У меня есть небольшая лавочка в большом районе Сигилларий, неподалеку от портика Маргатария. Мне дают кое-какие драгоценности в залог за небольшую сумму денег за расписку, которую в случае необходимости можно подменить на другую и подкупить свидетелей...

– Понятно, – вполголоса заключил парасит. – Что ж, если представится такая возможность, я вспомню о тебе, Арон из Ефраима.

Его собеседник, не проронив больше ни слова, на прощание с силой сжал руку паразита, который после этого присоединился к Афранию Потиту и удалился вместе с ним, продолжая громогласно славить своего благодетеля.

Радостная новость о добрых переменах в здоровье императора с молниеносной быстротой облетела весь Рим, неся надежду и облегчение.

Устав от бесконечных расспросов и поздравлений, Луций Кассий Херея с трудом выбрался из плотного кольца горожан, обступивших его, и поспешил вверх по улице Ретта. Через полчаса ходьбы новый друг Калигулы поднялся на холм, к которому примыкала стена Сервия Туллия, миновал Карментальские ворота и, спустившись по улице Аргилетто, очутился на Рыбачьем Форуме, откуда свернул в узкий проход между двумя зданиями, стоявшими на площади. Это была темная извилистая улочка, пропахшая рыбьим жиром и пропитанная тошнотворным дурманом гнилых водорослей. Слева и справа теснились убогие лавочки рыботорговцев, выставивших большие и маленькие корзины со своим товаром.

На почерневших от сырости деревянных подставках, освещенных тусклыми огнями коптящих факелов, переливались золотыми отблесками груды мелких краснобородок, изумрудом отсвечивали целые горы морской зелени и сверкали нагроможденные друг на друга серебряные мидии. Здесь были представлены все дары моря: от плоской адриатической камбалы до горбатых ионических устриц, от завитых перламутровых раковин до остроносой хрустальной кефали, от мельчайшей розовой салаки до щетинистой морской свиньи с ее устрашающе безобразной головой, от стоящей немалых денег скользкой мурены до изысканных желто-зеленых золотых рыбок.

– Невообразимый гам оглушал покупателей, в основном плебеев, выбиравших рыбу: сырую или жареную, какая была по карману. Торговцы наперебой расхваливали свежесть и дешевизну своего товара. Хозяйки пытались сбить цену, назначенную продавцами. Полуголые грузчики, надрываясь, тащили корзины по скользкой булыжной мостовой.

Сопровождаемый любопытными взглядами Луций Кассий Херея осторожно пробирався по улице, стараясь не запачкать своего роскошного наряда.

Рыбные лавки располагались на нижних этажах высоких, но ветхих четырех-пятиэтажных строений с их тесными и грязными каморками, заселенными городской беднотой. Порой перед входом в дом можно было встретить вывеску с названием ремесла, которым занимался его обитатель.

На одном доме висела дощечка с надписью «Аврора, повитуха», немного дальше, на противоположной стороне улицы можно было прочитать объявление «Иларий, нотариус».

Луций Херея вошел в дом, на котором была прибита эта табличка, и, ориентируясь на ошупь в темном коридоре, нашел крутую лестницу с шаткими ступенями. Поднявшись на второй этаж, он очутился на квадратной площадке, освещенной узкими лучами света, пробивавшимися сквозь дверные щели. В этом полумраке он различил еще одну лестницу и, поднявшись по ней, постучал в одну из дверей.

Вскоре мужской голос, отозвавшийся изнутри, спросил его имя, после того как Луций назвал себя, дверь со скрипом отворилась, и на пороге появился худощавый молодой человек лет тридцати, одетый в изрядно потрепанную домашнюю тунику.

Его бледное лицо с живыми маленькими глазками и высоким лбом с залысинами обрамляли черные волосы, спускавшиеся почти до плеч.

– Сальве, Иларий! Меня прислал Авл Вителий, сын твоего бывшего хозяина, – начал говорить Луций Херея, однако нотариус жестом прервал его и произнес с улыбкой, обнажившей два ряда прекрасных белых зубов:

– Приветствую тебя, о почтенный Кассий, подобный лучу сияющих эмпирей, озаривших беспросветный мрак этого скорбного пристанища, сравнимого с подземным царством Плутона, где смертные находят свой печальный удел.

– Ради Зевса-громовержца! Милейший Иларий, не набрасывайся на меня, такой тяжеловесной риторики я не выношу.

– Входи, входи. Да благословит тебя Венера-прародительница, своим напутствием указавшая тебе дорогу в сей забытый край!

Луций ступил в прихожую, оказавшуюся более опрятной, чем можно было ожидать.

Хозяин жилья запер за ним дверь, взял в руки небольшой, но до блеска начищенный светильник и указал на другую комнату, приглашая пройти; при этом он продолжал изъясняться хорошо поставленным голосом:

– Приношу извинения за некоторые риторические обороты речи, привитые мне знаменитым оратором Марком Помпилием Марцеллом, который научил меня наслаждаться божественными плодами и житнетворными соками из цветущих садов красноречия, возделанных для блага людей. Перлы высокого стиля доставляют мне радость и забвение в этой убогой обители, уныние которой ты развеял своим нечаянным посещением. Чем же я обязан тебе, благородный Кассий, за бесценное известие от моих дорогих и любимых господ Вителиев? И почему ты назвал их моими бывшими хозяевами? Сколько мне суждено жить, столько я буду верным слугой бесподобного Луция Вителия и его достойнейшей семьи. Как поживает мой высокочтимый благодетель? Я знаю, что наш повелитель Гай Цезарь Германик собирается послать его в Сирию, где парфяне объединились для борьбы с Римом и стали опаснее, чем когда-либо. Как мне известно, Авл Вителий уже занял место своего отца возле принцепса. Итак, что мне приказывает почтенный Авл? Чего хочет он от бедного раба, отпущенного на свободу благодаря бесконечной щедрости его отца, но все так же преданного своему незаменному хозяину?

Эту витиеватую тираду он произнес на одном дыхании и остановился лишь тогда, когда Луций Херея нетерпеливо перебил его:

– Предупреждаю, любезный Иларий, если ты не прекратишь этого пустословия, то я уйду, и вознаграждение, приготовленное тебе благородным Авлом, достанется какому-то менее болтливому грамотею.

– О, не гневайся, великодушный Кассий! Лучше бы разящая десница Зевса покарала меня.

Луций Кассий в ярости вскочил со стула, на котором сидел, и, направившись к выходу из комнаты, проговорил:

– Эреб тебя побери! Это невыносимо! Нотариус бросился вслед за ним и затараторил, умоляюще сложив руки:

– Постой... постой... я молчу. Нем как рыба. Луций не удержался от улыбки. Немного поразмыслив, он вернулся на прежнее место и огляделся.

Ветхая, но тщательно убранная каморка Илария чем-то напоминала его старомодную софистку: было видно, что хозяин жилища провел здесь немало времени в уединенных и кропотливых занятиях. Два больших книжных шкафа, симметрично расставленных вдоль противоположных стен, сгибались под тяжестью более чем двухсот томов по риторике, поэзии, философии и юриспруденции. Длинный рассохшийся стол был завален кипой бумаг и рукописей; рядом с чернильницей лежало стило для письма. В углу стоял несгораемый ящик для особо важных документов.

– Если ты способен говорить лаконично, то скажи мне, Иларий, как идут твои дела?

«Увы! Боюсь, что дела миновали нас вместе с прославленным веком великого Цицерона. В наше время все измельчало: и люди, и делишки, которые они вершат. Да ты, должно быть, это заметил, когда осматривал мою скромную лачугу.

– Я могу предложить тебе одну идею, осуществив которую, ты сможешь угодить Авлу Вителию и выбраться из нищеты.

– Да отблагодарят тебя небеса, – заговорил Иларий, подняв кверху свои худые руки.

Однако Луций Херея не дал ему продолжать, резко окрикнув либертина:

– Молчи!

Затем он спросил:

– Ты знаешь Марка Юлия Силлана?

– Принцепса сената? Почтенного, уважа...

– Его! Его! – нетерпеливо перебил Луций, – но только не уважаемого! Подобных слов не заслуживает человек, вынашивающий преступные замыслы против божественного Цезаря.

– О! Да приберет его Эреб! Да разорвет его Цербер на куски! Да вспыхнет он, как смятый листок бумаги, брошенный в пламя!

– Божественный Гай не хочет показывать, как он обижен тестем: так благородно его сердце! Но Авл Вителлий не может сдержать гнева на Силлана!

– Это и мой гнев! Я готов собственными руками растерзать подлеца, осмелившегося строить такие гнусные планы.

– Нужно подготовить против него обвинение в том, что он желал обесчестить Цезаря, отказавшись от траурной поездки на острова Понта и Пандетерию, откуда шесть месяцев назад был доставлен прах Агриппины, матери императора, и Нерона, его брата.

– Во имя Минервы, покровительницы всех наук, сделай это, а за мной дело не станет! Для меня нет большей чести, чем быть полезным моему вечному господину, почтенному Вителию.

– В это обвинение ты должен вложить всю силу своего красноречия. Да смотри же, не проболтайся кому-нибудь о вознаграждении, которое ждет тебя...

– ...возмущенному неслыханным злодейством старого мошенника Юлия Силлана!

– Против него ты подыщешь таких свидетелей...

– ...которым суд не сможет не доверять!

– Я думаю, что у тебя есть надежные помощники...

– ...искусство которых потребует небольшой суммы денег.

– Все расходы по этому важному делу будут оплачены с лихвой. Зайди завтра в дом Авла Вителлия. Там тебе передадут сорок тысяч сестерциев. На эти деньги ты подкупишь самых уважаемых людей.

– О них не беспокойся, почтенный Кассий. Мне ли не знать, кто нам нужен в столь деликатном и опасном предприятии? У меня на примете есть одна пожилая матрона, вдова сенатора... В молодости она вела довольно распутную жизнь, но сейчас известна как одна из благороднейших патрицианок. Еще есть два всадника, правда, совершенно разорившихся, но потому и торгующих происхождением. Наконец, два плебея из старинных фамилий, занимающихся чем попало... Но в Риме их слову поверят, как дельфийскому оракулу. Достойные люди найдутся, не сомневайся.

– Ну, вот и хорошо! Не мне тебя учить, Иларий, как нужно вести дела. И ты, конечно, знаешь, что Силлан обладает огромным состоянием, которое в случае удачи будет полностью конфисковано. Но мне поручено сказать тебе, что по завершении суда имперская казна получит ходатайство Вителлия и выплатит обвинителю восьмую часть этой суммы.

Черные глазки нотариуса блеснули, а сам он, до той поры сутулившийся из-за высокого роста и худобы, вдруг резко выпрямился.

– Наконец-то мрак моей нищеты озарится сиянием золотого дождя, а бедный нотариус с Рыбачьей улицы станет знаменитым адвокатом, чтобы приносить еще большую пользу почтенному Кассию, благородному Вителию и божественному Цезарю, чтобы громоподобной риторикой поражать их врагов, испепеляя, пронзая, уничтожая.

– И надоедая своим пустословием божественному Цезарю, благородному Вителию и почтенному Кассию, – улыбнувшись, добавил Луций Херея, поднимаясь на ноги.

Изменив тон, он добавил:

– Надеюсь, мне не нужно напоминать, что наш разговор должен остаться в тайне?

– О! Как ящерица молчалива среди животных, так Иларию хранит секреты среди людей.

– Тем более что ящерица лишается хвоста так же быстро, как Иларию лишится головы, если не будет держать язык за зубами.

– Разумею. У меня на все случаи жизни припасены слова Пиндара, который среди лириков парит, как орел среди стервятников. Сей поэт однажды сказал: «Как часто уменье молчать бывает вершиною мысли...»

– Прощай, Иларию. Посвети мне на лестнице.

– Сочту за честь. Сейчас иду, – почтительно ответил либертин, пропуская Кассия вперед.

Убогость его жилища теперь просто била в глаза.

– Ты живешь один? У тебя есть женщина или слуги?

– Только один раб... подросток. Он и стирает, и готовит еду, и убирает жилье.

– Это хорошо, – сказал Луций Херея, выходя на лестницу вслед за Иларием, взявшим в руки маленький светильник.

– Завтра в десять часов утра, как весенняя ласточка возвращается к своему гнезду, так и я на крыльях надежды прилечу под крышу моего щедрого хозяина, благородного Авла Вителлия.

– Ладно, в десять часов. Только прошу тебя, не терзай слуха твоего покровителя этой бессмысленной птичьей трескотней! – крикнул Кассий. – Ты человек образованный и, конечно, помнишь строки Флакха о том, что нельзя слишком надоедать людям.

С этими словами он вышел на Рыбачью улицу, откуда свернул на улицу Малый Велабр, и, пройдя сначала Бычий Форум, а потом улицу Сакра, миновал храм Зевса Статора и поднялся по улице Виктории, ведущей к Палатинскому дворцу.

Иначе говоря, вскоре он очутился в ярко освещенном атриуме тибериевского дворца, где увидел две молчаливые очереди горожан: тех, кто желал справиться о здоровье Цезаря, и тех, кто, уже навестив его, собирался выходить наружу.

С трудом протиснувшись сквозь толпу, к Луцию подошел актер Марк Мнестер, любимец Цезаря и один из самых красивых мужчин Рима.

Марку Мнестеру недавно исполнилось тридцать лет. Обладая стройным и в то же время могучим телосложением, он, казалось, самой природой был создан для выступления перед тысячами зрителей. Так выразительна была его внешность: совершенная, точно высеченная из мрамора фигура; изящные и одновременно сильные руки; черная, перевязанная тесьмой густая шевелюра; наконец, правильные черты умного, живого лица, с большими красивыми глазами.

Мнестеру очень шел его роскошный греческий наряд.

В углу атриума, рядом со входом в таблий расположились человек пятьдесят преторианцев, возглавляемых центурионом и трибуном. Последний, облаченный в тускло поблескивающую кольчугу, стоял, скрестив руки на груди, и, казалось, был погружен в какие-то невеселые мысли. На вид ему можно было дать лет шестьдесят пять. Несмотря на возраст, он был подтянут и мускулист. Его коротко стриженные седые волосы были едва видны из-под увенчанного белым плюмажем стального шлема, надвинутого на смуглый нахмуренный лоб. Взгляд серо-зеленоватых глаз был пристален и суров, а тонкие, неправильно очерченные губы плотно сжаты. Мужественное лицо трибуна преторианцев было в этот день озабоченным и печальным.

Его имя было Гай Кассий Херея. Приписанный к трибе Поллия, он происходил из плебейского рода Кассиев.

Тридцать шесть лет назад, в 753 году по римскому летоисчислению, молодой, тогда еще двадцатилетний Кассий Херея вступил в ряды городской гвардии, а точнее, в ее двадцать первый легион, который вскоре был послан защищать границу на Рейне, подвергавшуюся частым нападениям со стороны германских племен. Ведя кровопролитную борьбу с неприятелем, этому легиону пришлось вынести гораздо больше испытаний на воинскую доблесть, чем выпало на долю римских отрядов, находившихся в Паннонии, в Иллирии, в Сирии, в Галлии или в Испании.

Молодому Гаю Кассию всюду удавалось отличаться: и при несении караульной службы, и на изнурительных маршах, и на учениях, и в боях, где он не раз доказывал свою исключительную смелость.

За отвагу он заслужил гражданский венок и чин десятника; затем был награжден двумя почетными ожерельями; еще позже снова удостоился гражданского венка. Он воевал и при Гае Цезаре, племяннике Августа (сыне Агриппины и Юлия), и при Тиберии, в правление которого был произведен в центурионы.

Во время долгих зимовок, когда легион отдыхал от ратных дел, молодой, но равнодушный к шумным увеселениям центурион запоем читал исторические сочинения Фабия Питтора, Клавдия Квадригария, Порция Катона, Валерия Анциата, Гая Саллюстия Криспа, Корнелия Непота, Теренция, Варрона, Тита Ливия и других писателей, уносивших его воображение во времена подвигов и добродетелей, в века утерянной свободы, в эпоху истинного величия римлян.

Человек, благородный по натуре, он искал и находил в книгах понятия о чести и самоотверженной преданности родине, и свойственное ему чувство долга и справедливости укреплялось в нем.

В 762 году он получил известие о смерти отца, оставившего ему в наследство участок земли с небольшим домом в Тускуле, и, выхлопотав надлежащее разрешение, вернулся на берега Тибра.

В Тускуле он встретил и полюбил девушку из бедной семьи земледельца, жившую неподалеку от города, вскоре ставшую его женой. Она умерла при родах, оставив ему мальчика, названного Луцием.

Не в силах оставаться в доме, где все напоминало о таком кратком и безвременном миновавшем счастье, он отдал сына на попечение матери и вернулся в двадцать первый легион, с распростертыми объятиями встретивший своего центуриона.

Вновь приступив к службе, Гай Кассий Херея стал больше, чем когда-либо, избегать шумных компаний и дружеских кутежей; он откладывал деньги на образование сына.

В 767 году Кассий Херея доказал свою дальновидность и благоразумие, когда отказался присоединиться к мятежу в войсках, восставших против нового полководца Германика. Это он, Гай Кассий Херея, силой меча и слова сумел навести порядок в двадцать первом легионе, усмирение которого стоило жизни многим центурионам. Молодой Германик не забыл отличившегося командира и, наградив званием трибуна, приблизил к себе Кассия, бесстрашная доблесть и воинские звания которого не раз емугодились в прославленных походах 767–770 годов, когда в сражениях между Рейном и Эльбой были покорены германские племена, некогда разбившие армию Квинтилия Вара.

В 771 году Кассий Херея отпросился в долгосрочный отпуск и отправился в Рим, чтобы заняться образованием сына, многообещающие способности которого требовали постоянного отцовского присутствия и наставничества. Вскоре он с головой ушел в хлопоты, связанные с обучением Луция, и, решив навсегда поселиться в Вечном городе, по ходатайству Германика был назначен трибуном в когорту преторианцев, где оставался вплоть до 790 года, то есть описываемого времени.

В вышеупомянутый день 31 октября Гай Кассий Херея, вместе с половиной своей когорты несший службу по охране Палатинского дворца, занимал пост у входа в императорский таблий.

Войдя в таблий, Луций лицом к лицу столкнулся с отцом и смущенный непредвиденной встречей почтительно сказал:

– Сальве, отец!

Кассий Херея не ответил. Пристально взглянув на сына, он не смог удержать жеста, в котором выразились его и презрение и отчужденность.

Тогда юноша приблизился к нему и негромко спросил:

– Ты опять сердишься?.. Послушай, не суди меня слишком строго!.. Разве ты не видишь, что в наше время фортуна улыбается лишь тем, кто умеет приспособливаться, а не тем, кто идет против течения!

– Не для фортуны я растил тебя, а для добродетели; не похвалы порочных людей желал тебе, а одобрения твоей совести.

Лицо трибуна, произносившего эти горькие, укоризненные слова, было бесстрастно, а голос то и дело срывался на фальцет: обладая врожденным дефектом речи, Гай Кассий Херея нередко подавал повод для насмешек Калигулы.

– Ты не отказываешься от своих упреков даже теперь, когда я заслужил благосклонность и уважение самого императора?

– Заслужил благосклонность. Не посредничеством ли в грязных интригах ты заслужил расположение принцепса? – презрительно скривив губы, тихо пробормотал трибун и удрученно добавил:

– Не подходи ко мне... не здоровайся... не обращай ко мне, недостойный сын, позор моей честной жизни и несчастной старости.

Он повернулся и пошел прочь.

Луций, отчасти пристыженный, отчасти раздосадованный неудавшимся разговором, некоторое время постоял в нерешительности, затем беспечно пожал плечами и направился в покои Калигулы.

В первой комнате ему повстречалась бледная и печальная Энния Невия, беседовавшая со знаменитым греческим хирургом; у противоположной двери сидя дремал вольноотпущенник Цезаря, которому, очевидно, было велено не впускать посторонних.

Во второй комнате молча сидели Пираллида, скорее скучающая, чем подавленная, и Руф Криспин, преторианский трибун, который чаще других находился в услужении у Цезаря.

В третьей комнате, непосредственно примыкавшей к спальне императора, в одиночестве расхаживал из угла в угол префект претория Невий Сарторий Макрон.

Луций Кассий небрежно приветствовал Эннию греческого хирурга, полусонного вольноотпущенника, Руфа Криспина и почтительно поклонился Пираллиде, имевшей успех у Калигулы.

С Макроном он поздоровался как с человеком, равным ему по силе и влиятельности.

Сын преторианского трибуна уже готов был войти в комнату Цезаря, когда Макрон шагнул к нему и негромко окликнул:

– Послушай меня, Луций.

Луций обернулся и с улыбкой произнес:

– Говори, почтенный Сарторий! Я к твоим услугам.

– Видишь ли... я хотел попросить тебя... ты по праву заслужил благосклонность нашего Цезаря.

– Так же, как и ты, почтенный Макрон.

– Прошу тебя, передай императору, когда выйдет его сестра Друзилла, что его дожидается бедная Энния. Она так мучается, так желает видеть божественного Гая.

– Почтенный Макрон, ты лучше меня знаешь, что врач Карикл запретил излишне волноваться августейшему пациенту. Однако из преданности к тебе и к Эннии я постараюсь и, если сегодня или завтра выдастся подходящий момент...

– Прошу тебя!

– Я сделаю все, что в моих силах!

Луций подал руку Макрону и, осторожно приоткрыв дверь, на цыпочках вошел в комнату больного.

Просторная спальня, где на украшенной черным деревом и резьбой по слоновой кости постели лежал Калигула, сначала показалась ему полностью погруженной во мрак. Но немного погодя, освоившись, он заметил, что она слабо освещена голубоватым мерцанием крохотного светильника, горевшего в углу.

Под пурпурно-золотистым покрывалом, на четырех подушках полулежал бледный, похудевший император. В его ногах на маленькой скамеечке сидел врач Карикл, полный белобородый старик с умным красивым лицом; по другую сторону стоял любимец Калигулы, тридцатидвухлетний вольноотпущенник Геликон, горбун с приятными чертами лица.

У изголовья, с халцедоновой чашей в руках стояла сестра Гая Цезаря, девятнадцатилетняя Юлия Друзилла, внешне очень похожая на своего брата, а еще больше – на свою сестру Аариппину. Муж Юлии, Луций Кассий Лонгин, находился в триклинии, где разговаривал с консулами и сенаторами.

На Юлии было роскошное платье, обнажавшее спину и подчеркивавшее плавные линии ее довольно полной фигуры. Мягкие черты ее чуть горбоносого и удлиненного, как у всех в ее роду, лица казались бледными, но спокойными. Ее пепельные волосы были мелко завиты, красивые зеленовато-голубые глаза нежно и внимательно смотрели на брата, губы плавно двигались в такт словам, обращенным к нему.

– Выпей бульону, мой милый Гай. Он придаст тебе силы.

У нее был певучий, хотя и несколько хрипловатый голос.

Калигула, медленно повернувшись к ней и с любовью оглядев с головы до ног, произнес дребезжащим, жалобным тенорком.

– Не хочу. Оставь меня!

– Так нужно, божественный Цезарь. Если ты не заботаешься о себе, то подумай о Риме, об империи, о ста тридцати миллионах подданных, молящихся о твоём выздоровлении.

Эти слова принадлежали врачу Кариклу. Он проговорил их, не поднимаясь с места.

– Выпей за мою любовь, – с нежной улыбкой добавила Друзилла.

Калигула с трудом взял чашу из тонких рук сестры и воскликнул:

– За твою любовь, божественная Друзилла! За нее я готов выпить даже яд!

Он до дна выпил содержимое чаши, которую Друзилла тотчас забрала у него и поставила на столик из черного дерева, инкрустированный серебряными лепестками.

Луций осторожно приблизился к Кариклу и, наклонившись к его уху, тихо спросил:

– Как дела?

– Лучше! Гораздо лучше! – ответил врач. – Опасность миновала.

Калигула, долго смотревший на Друзиллу, вдруг привлек ее к себе. Обнимая и страстно целуя, он взволнованно прошептал:

– Как ты красива, моя Друзилла! Как ты красива!

Глава V. О веселье и смерти, которые порой приходят одновременно, но выбирают разные дома

В день перед январскими календами (28 декабря) 791 года на Рим обрушилась жестокая зимняя буря. С утра до вечера холодный проливной дождь хлестал по каменным плитам мостовых. На опустевших улицах огромного города, где раньше обычного погрузились во мрак все дома, все дворцы и лачуги с их плотно закрытыми ставнями на окнах, не было слышно ничего, кроме несмолкающего шума падающей воды и жалобного, словно оплакивавшего кого-то, завывания ветра, гулявшего в безлюдных переулках и зияющих отверстиях портиков.

Редкий прохожий осмеливался нарушить своими шагами этот протяжный, монотонный гул разбушевавшейся стихии: в такую неуютную пору горожане, затворившиеся кто в роскошных особняках, кто в убогих бедняцких каморках, предпочитали без крайней нужды не покидать жилья, укрывавшего их как от суровой непогоды, так и от многих других неприятностей.

В палатинском доме Августа Клавдий Друз приказал слугам запереть входные двери и всю ночь поддерживать огонь в печах, обогревавших комнаты хозяев. Поступая по сложной системе труб, горячий воздух от этих печей, расположенных в подвале, отапливал и жилые помещения, и роскошную библиотеку, озаренную сиянием двух ярких светильников, горевших на столах Клавдия и Полибия.

Закутавшись в тогу на меховой подкладке, Клавдий удобно устроился за письменным столом и не спеша перелистывал какую-то книгу.

Справа на его рабочем месте находилась золотая чернильница, стило для письма, восковые дощечки и аккуратная стопка тончайших листков папируса, которые вплоть до описываемого времени назывались «августовскими», а несколько лет спустя получили наименование «клавдиевы», в честь самого Клавдия Друза, придумавшего новый способ их изготовления.

С левой стороны стол был завален множеством раскрытых книг. Кипы книг громоздились и на скамейке возле кресла, на котором сидел брат Германика, и на ковре, покрывавшем богатый мозаичный пол.

Вдоль стен тянулись большие книжные шкафы, вмещавшие свыше трех тысяч томов литературы по различным отраслям знаний. Среди их кожаных корешков тут и там темнели пустые, указывавшие на изначальное положение книг, окружавших неподвижную фигуру историка этрусков.

В дальнем углу библиотеки, рядом с двумя окнами, из которых днем можно было увидеть храм Аполлона Палатинского, горбился над своим столом вольноотпущенник Полибий, библиотекарь Клавдия и помощник в его ученых занятиях.

Грек Полибий в юности был рабом Августа, державшего его при своей огромной библиотеке. Занятый многочисленными переводами и перепиской различных латинских и греческих рукописей, молодой раб целые дни находился среди книг императора, где, в свою очередь, большую часть времени проводил Клавдий, предпочитавший нетленную мудрость прошедших веков всем преходящим увеселениям римлян и увлечениям двора, за что заслужил немало ехидных замечаний от Ливии, Августа, Друза, Тиберия и от всей придворной знати.

Вот в этой самой библиотеке и зародилась, а потом окрепла дружба молчаливого раба и всеми презираемого принцепса, побудившая последнего выбрать подходящее время и, почти не надеясь на успех, обратиться к Августу с просьбой подарить ему молодого ученого раба. На счастье обоих, Октавиан, редко пребывавший в добром расположении духа, согласился

выполнить эту просьбу в своем посмертном завещании. Жить ему оставалось к тому времени недолго, и вскоре Полибий стал вольноотпущенником и добровольным помощником в литературных занятиях Клавдия.

Бывшему рабу исполнилось сорок шесть лет. Фигура его заметно обрюзгла, редкие белокурые волосы, обрамлявшие худое веснушчатое лицо с голубыми глазами, которые он часто шурил, уже имели розоватый, старческий оттенок.

Помимо работы, выполняемой им по указанию хозяина, он занимался переводом на греческий язык «Энеиды» Вергилия и доводил до совершенства латинский, вариант Гомеровой «Илиады».

Клавдий и Полибий молча трудились над своими книгами: один заканчивал восемнадцатый том «Истории этрусков», другой заново переводил третью книгу «Илиады».

Неожиданно монотонный шум дождя, доносившийся с улицы, был нарушен шелестом женской одежды. Полибий первый поднял голову и, увидев вошедшую Мессалину, встал, чтобы с присущей ему почтительностью приветствовать ее:

– Сальве, моя уважаемая синьора и госпожа.

Прежде чем она успела ответить, Клавдий бросил стило в чернильницу и, потирая руки, воскликнул с видом человека, довольного собой:

– Сальве, Мессалина! Уже наступило время ужина?

– Сальве, Полибий, – сказала женщина, – сальве, Клавдий, скоро ужин будет готов. Я пришла поговорить с тобой.

– Пришла поговорить. Вечно ты находишь темы для разговора, когда пора садиться за стол!

– А ты вечно занят историей своих этрусков и забываешь, что тебя окружают живые люди!

В голосе Мессалины прозвучал горький упрек мужу.

Полибий вышел из-за стола и, решив оставить супругов наедине, вежливо произнес:

– С вашего позволения, пойду выпью чашку меда.

– Полибий, ты можешь не уходить, – поспешил сказать Клавдий, в последнее время избегавший встречаться с женой без свидетелей, – я настолько привык считать тебя членом нашей семьи, что, думаю, ты не помешаешь небольшой домашней беседе.

Такое мнение, видимо, не разделяли ни нахмурившаяся Мессалина, ни Полибий, который, продолжая пятиться к двери, любезно улыбнулся и проговорил:

– Благодарю, уважаемый Клавдий, но мне нужно идти. До встречи, почтенная Мессалина.

Либертин вышел. За его спиной сомкнулся полог, прикрывавший выход из библиотеки; а чуть позже послышался щелчок затворяемой двери.

Воцарилась тишина. Минуту спустя Мессалина неожиданно быстро подошла к Клавдию, ногой отшвырнув в сторону одну из книг, лежавших у нее на пути. Резко взмахнув изящной рукой, она обрушила на пол тома, которые громоздились на скамье возле ее мужа.

– Даже здесь нет места для твоей жены! Твое сердце занято одними книгами! – воскликнула она зло и села на освободившееся место.

Испуганно посмотрев на разбросанные книги, Клавдий произнес с наигранным удивлением:

– Что случилось? Почему тебя так раздражают мои книги?

Он недоумевающе пожал плечами и, возведя глаза к потолку, точно призывал богов стать свидетелями незаслуженных упреков, смущенно пробормотал:

– Ну что я такого сделал, что?

Однако жена не дала завершить этого вопроса. Резко перебив супруга, она громко отчеканила:

– Ты делаешь все, что не должен делать, и не делаешь ровным счетом ничего из того, что нужно!

Клавдий обхватил голову руками, словно защищаясь от града, который вот-вот должен был посыпаться на него, и протянул со стоном:

– Поговорим об этом потом, моя дорогая.

– Потом будет поздно! Тебе нужно очнуться сейчас, сию минуту!

– Да я сплю всего по шесть часов в сутки, – попробовал отшутиться новоявленный консул, все еще надеявшийся избежать неприятного разговора.

Но его слова только подлили масла в огонь.

– Ах вот как! Твоего ничтожного ума не хватает даже на то, чтобы понять простые вещи. Глупец! – скривив рот, презрительно и зло процедила Мессалина.

Клавдий ничего не ответил.

– Через три дня заканчивается твое консульство, – немного успокоившись, продолжала его супруга. – Благосклонность Гая Цезаря, которой мы пользовались первое время, тает с каждым часом. Через три дня ты ее вовсе потеряешь. Ты, который мог столько добиться! Ты, который мог стать императором!

– Тес! – испуганно прошептал Клавдий, отчаянно замахав руками, словно хотел развеять отзвуки этих слов. Чуть погодя, он тихо добавил:

– Что ж, может быть, ты и права. Пусть так. Но недаром все эти книги, – он обвел рукой вокруг себя, – приводят тысячи примеров той страшной участи, которая постигает всякого, кто даже не желает, лишь всего подозревается в желании стяжать высшие почести. О! Боги знают, чего мне стоило казаться глупцом.

Мессалина горько вздохнула.

– Да, казаться глупцом, – продолжил Клавдий, воодушевленный молчаливым согласием жены, – и в течение двадцати трех лет стараться не привлечь к себе внимания Либерия, избегать его ужасной ревности и подозрительности; как Брут, я должен был прикидываться юродивым, чтобы выжить; и вот сейчас, когда возвращаются кровавые времена преследований и доносов, именно сейчас ты хочешь, чтобы я так безрассудно навлек на себя мрачную тень подозрения! Да, я хочу спать спокойно, а не участвовать в сенатских распрях. Мне нужно заниматься моими книгами. Да, мне нужно, чтобы меня считали глупцом. Да, я боюсь зависти и ревности, крови и яда. Что поделаешь, таким я родился! Но ты, моя любимая супруга, мать нашей обожаемой Оттавии, как ты можешь упрекать своего верного супруга в том, что он не желает собственной смерти?

Клавдий говорил горячо, страстно, как человек, высказывающий то, что давно накопилось у него. Мессалина слушала молча и только тогда, когда он остановился, чтобы перевести дух, попыталась снова завладеть нитью разговора:

– Глупости все это, глупости.

Но муж, с неожиданным для него упорством прервав ее, заговорил быстрым, жарким шепотом:

– Глупости? Глупости, говоришь? Неужели ты не видишь, что мой племянник Гай уже давно не носит той маски, которую на Капри ему одолжил старый притворщик Тиберий, научивший его скрывать свое истинное лицо. Неужели ты не видишь всей его кровавой жестокости, всего бесстыдного распутства, которому он предается в компании актеров, пьяниц, сводников и подхалимов? Неужели ты не знаешь, что случилось с Марком Юлием Силланом? В чем была его вина? Может быть, Юния Клавдилла, его дочь, которая была замужем за Гаем и умерла вскоре после свадьбы, могла рассказать отцу о каких-то тайных пороках своего мужа. А может быть, сам Силлан, связанный с Гаем семейными отношениями, понял его порочную душу и, потеряв дочь, не мог удержаться от горьких упреков в адрес будущего императора? Может быть. Но в чем обвинили Силлана? Этого человека высоких

достоинств, благородного римлянина, всегда честно высказывавшего свое мнение сенату, – в каком преступлении его обвинили? Ему предъявили ложное обвинение в покушении на высшую власть и, подкупив свидетелей, обрекли на такое бесчестие, что он предпочел вскрыть вены и умереть! А в чем провинился Юлий Грек, почтенный сенатор, уважаемый как за величие души, так и за выдающуюся ученость? В том, что он отказался участвовать в преследовании невинного Силлана! Та самая твердость духа, которая не должна была вызвать ничего, кроме одобрения и почета, стоила ему жизни! А разве к нам не переменялся Гай Цезарь? Да, в первые месяцы он приглашал нас на обеды, где я так усердно старался заслужить его малоуважительную благосклонность. Но и это прошло! Тогда он смеялся за моей спиной, но все же был добр ко мне! Он пожелал сделать меня консулом! С тобой он был так нежен и ласков, что это даже возбудило ревность Эннии Невии, посчитавшей тебя любовницей Цезаря. Но теперь ему нет до нас никакого дела! Я даже не знаю, получу ли ежегодную выплату в два миллиона сестерциев, которую он мне назначил, и я боюсь новых зловещих признаков немилости.

– Вот именно! Вот именно, – вполголоса заговорила Мессалина, жестом прерывая речь мужа, – он пренебрегает нами, он забывает, кто ты и какие у тебя права! Он теряет народную любовь и приобретает славу кровавого, отвратительного, порочного тирана. Вскоре бывшие симпатии сменятся безразличием. А на его место придут презрение и ненависть. И вот тогда сенат, горожане, весь Рим, все будут искать избавителя, способного спасти их от власти деспота. Но на кого смогут обратить свои взоры и надежды римляне? Если они к этому времени успеют узнать тебя, оценить высокие достоинства твоего имени и понять, что ты остался единственным наследником дома Юлия, то ты заслужишь все наивысшие почести, которые тебе суждены по праву твоего рождения и крови. А если тебя не будут видеть, не будут знать о твоем существовании, кто тогда вспомнит о тебе? Гай Цезарь не сможет жить долго, потому что его здоровье, подорванное невоздержанным образом жизни, так же слабо, как и его душа, склонная более всего к порокам и растлению. Это значит, что либо он умрет от болезней, либо его погубят собственные преступления. Что тогда?

Слушая жену, Клавдий все время делал ей знаки не повышать голоса, а когда она задала свой последний вопрос, испуганно прошептал:

– О Зевс! Зачем ты мне говоришь все это?

– Во имя Немезиды! – воскликнула Мессалина, схватив руку мужа и с силой сжав ее. – Что за супруг мне достался! Не мужчина, а мальчик, вечно дрожащий перед розгами воспитателя! Ты, верно, не знаешь, что фортуна выбирает храбрейших и всегда становится на их сторону! ну хорошо, от тебя не требуется смелости!.. Я не прошу тебя устраивать заговор. От тебя нужно только, чтобы ты не сидел дома, жирея от безделья; чтобы с достоинством исполнял свой общественный долг, чтобы чаще посещал зрелища и представления, чтобы несколько раз выступил в сенате, как ты умеешь это делать, чтобы всего лишь был на виду, принимал клиентов и щедро угощал их, чтобы, наконец, разослал во все библиотеки твою «Историю этрусков». Об остальном позаботится твоя жена, у которой в груди, кажется, стучит более мужественное сердце, чем твое.

– О Зевс! Зевс! – шептал Клавдий, запустив обе руки и шевелюру и трясая головой. – Даже одного из этих требований достаточно, чтобы моя голова слетела с плеч под топором ликтора!

– Ты думаешь, что моей голове ничего не грозит? Неужели ты не понимаешь, что в случае неудачи гнев Калигулы падет и на меня?

– Иногда мне кажется, что твоя голова значит для тебя не так много, как все остальное, – с примирительной улыбкой вставил слово Клавдий. – Мне же хватает и того, что находится у меня на плечах.

– Верховные боги! – вырвалось у Мессалины, разгоряченной спором, – если мне остается только такая беспросветная жизнь, то лучше умереть за любую возможность изменить ее!

– Опомнись, дорогая, не давай волю чувствам! Одно дело сказать, другое – сделать. У меня нет тщеславия, нет гордыни, нет желания собственной смерти. Я доволен жизнью! Чего нам не хватает? Мне хорошо жить на этом свете!

– Да ты просто трус! Пугливая овца! Простофиля! – с досадой воскликнула Мессалина и, не в силах сдержать гнева, резко поднялась с места.

Клавдий тоже вскочил на ноги и, бросившись к жене, попробовал успокоить ее лаской и нежными словами. В то же время он встревоженно оглядывался и умолял не повышать голоса:

– Будь добра, не кричи! Мессалина, дорогая моя! Все будет так, как ты хочешь. Послушай... Успокойся... Ты втолковываешь безрассудные идеи этому преторианскому трибуну, Децию Кальпурниану, который часто посещает наш дом. Ну, возьми же себя в руки, любимая.

– Чего нам не хватает? – глухо переспросила Мессалина и вдруг резко обернулась к мужу: – «Чего нам хватает»? Да у нас нет ничего! И если бы не мои старания, мы бы вовсе не сводили концов с концами! Как бы ты прожил без меня на этом нищенском жаловании, которое тебе назначил Август и сохранил Тиберий? Я уже не говорю о том, что я, жена императорского родственника, вынуждена одеваться хуже всех римских матрон! И о том, что лишь благодаря мне ты заслужил благосклонность Гая Цезаря и удостоился ежегодного вознаграждения в два миллиона сестерциев! А кто помог тебе стать консулом? И кто, наконец, в течение трех лет, с тех пор как я стала твоей женой, постоянно унижается и выпрашивает у Паоло Фабия Персика деньги для поддержания нашего скудного достатка?

– Ты права... ты права... это так, – покорно согласился Клавдий. – Ты замечательная супруга, умная женщина, прекрасная хозяйка дома, но мне не нужны излишества. Я могу довольствоваться малым.

– Вот как? – горько усмехнулась Мессалина. – Ты довольствуешься малым? Право, ты говоришь, как настоящий стоик, однако за столом тебе нужны самые изысканные блюда! Тебе нужны цекубы с фалернским и лесбосским вином, ты выпиваешь по несколько кубков отборного хиосского! Так-то ты довольствуешься малым! Нет, ты говоришь не как стоик, а как циник, потому что при этом ты позволяешь себе любую прихоть. Для одной кухни ты держишь шестерых рабов! Так-то ты проповедуешь умеренность и воздержание! О боги, послушайте этого пифагорийца, который чуть не каждый день питается устрицами из Тарента, камбалой из Равенны, муреной с «Сицилии, сабийскими дроздами, фазанами из Малой Азии, самскими павлинами и всевозможными подливами и лакомствами, которые могли бы украсить стол в триклинии императора! А в это время твоя жена должна надевать старую, порванную тунику и идти гулять с Антонией, твоей десятилетней дочерью от брака с Элией Петиной, которую ты оставил, чтобы жениться на мне! Да одно твое обжорство стоит нам миллион сестерциев в год. И на одежду мы тратим пять или шесть тысяч. Мы даже не можем содержать подходящих рабов! У нас, как у самых последних плебеев, всего двенадцать слуг: две цирюльницы, одна рабыня для украшений, другая для косметики, одна следит за одеждой и шесть рабов на кухне!

– Ты права. Это так. Но, когда ты злишься, моя Мессалина, я совсем теряю рассудок и не понимаю твоих слов. А Фабий Персик... не слишком ли много денег ты у него занимаешь?... Чем мы расплатимся за четыре или пять миллионов сестерциев, которые он одолжил тебе?

– Ох, об этом не думай! Предоставь заботы мне, твоей доброй жене, хозяйке этого дома. Я все устрою. Сейчас Фабий Персик ничего не требует. Он наш преданный друг, который

больше тебя самого верит в нашу удачу. деньги он надеется получить, – и тут Мессалина, понизив тон наклонилась к уху Клавдия, – не раньше, чем ты станешь императором!

– О боги! Опомнись! Опомнись! – в ужасе прошептал Клавдий и, побледнев, закрыл ладонью рот своей жены. – Опомнись, Мессалина! Не произноси этого слова. Прошу тебя, не думай об этом... забудь!

Внезапно он затрясся всем телом и, умоляюще сложив руки, грузно повалился на колени перед Мессалиной.

Она довольно долго смотрела на него, словно изучала это дряблое, склонившееся перед ней тело. Затем, отчетливо выговаривая каждое слово, тихо сказала:

– Трусливый дурак!

Но, спохватившись, взяла его за руки и добавила:

– О да, я думаю об этом, не перестану думать днем и ночью, всегда, до тех пор, пока моя мечта не исполнится. О! – воскликнула она убежденно, – ведь ты тоже не можешь не думать об этом всесильном слове! Но произносить его я не буду. Не сомневайся, я не так глупа.

Мессалина помолчала еще немного, а потом спросила:

– Ну, толстый сорокашестилетний ребенок, что же ты будешь делать?

– Все, что скажешь. Только не злись на меня.

– Пойдешь завтра в библиотеку Аполлона? Будешь читать горожанам «Историю этрусков»?

– Начиная с завтрашнего дня буду читать ее всем, кто пожелает услышать.

– Будешь каждые пятнадцать дней рассказывать людям о том, что ты узнал за тридцать лет, изучая право, историю и религию?

– Буду, но предупреждаю, что страх может помешать мне говорить. Ты же видишь, Мессалина.

– Будешь выступать перед людьми каждые пятнадцать дней?

– Да.

– Будешь ходить со мной на все представления и игры преторианцев в амфитеатре Кастро? И вести себя там, как подобает брату Германика, человеку, достойному высших почестей?

Клавдий снова задрожал.

– Нет, только не это! Нет, Мессалина!

– Нет? нет?! – повысила тон его жена, делая вид, что ею вновь овладевает гнев, которого она уже не испытывала, потому что была уверена в победе. – Хорошо же! Я от тебя уйду. Завтра я покидаю этот дом и возвращаюсь к Мессале, моему отцу. А потом... Почему бы мне не позволить себе кое-какие радости жизни? Я еще красива, привлекательна!

– О нет!.. Ради всех богов, нет! – пролепетал Клавдий, – не оставляй меня... я не вынесу этого... я не смогу жить без тебя... без твоей красоты! Запах твоих волос так неотразимо действует на меня. Я люблю тебя больше всего на свете! Для тебя я сделаю все, пойду в амфитеатр Кастро.

– О, как я тебя люблю! Мы пойдем вместе, и ты будешь держать под руку твою Мессалину!

С этими словами она раскрыла объятия Клавдию. Он тут же поднялся с колен и принялся горячо целовать свою жену, называя ее самыми нежными и ласковыми словами.

Обнявшись, они стояли без движения несколько минут. Нежно склонясь к супруге, брат Германика просил ее не уходить сегодня в свои покои, а провести ночь в спальне мужа.

– Но разве не ты мой хозяин? Разве не ты мой повелитель? Разве не ты мой обожаемый...

И, коснувшись губами уха Клавдия, шепнула:

– ...император!

Произнеся это слово, она обворожительно улыбнулась, и, взяв мужа под руку, стала рассказывать с ним по библиотеке.

– И ты всегда будешь слушать твою жену, мой милый Клавдий?

– Конечно, буду, конечно, – ответил тот. – Да что же еще я делал все три года нашего супружества?

– О!.. многое многое, – сказала женщина, ласково поглаживая его руку. – До сих пор ты все делал по-своему: пропадал в своей библиотеке вместо того, чтобы быть рядом со мной. На людях оставался слишком мягким, вместо того, чтобы быть решительным и твердым.

– Но ты же видишь, Мессалина, что я...

– Ерунда! Ничего не хочу слушать! Ничего не желаю знать, кроме того, что, начиная с этого дня, ты будешь следовать моим советам всегда и во всем!

– Всегда и во всем! – как эхо, повторил Клавдий.

– Тем более, – игриво добавила Мессалина, – что, да будет тебе известно, твоя нежная и преданная жена больше всего на свете любит отца своей обожаемой Оттавии!

– Я это знаю! Знаю! – с чувством воскликнул историк этрусского племени, останавливаясь и восторженно целуя свою жену.

– И знаешь, что каждое ее слово приносит ему пользу?

– Прекраснейшая, любимейшая Мессалина!

– И знаешь, что жена твоя не лишена некоторой прозорливости?

– Знаю, моя Мессалина! Ничто, ничто не укроется от твоих неотразимых глаз!

– Наконец-то даже ты это признал...

– ...что ты самая чудесная женщина Рима! – пылко заключил Клавдий, окончательно впавший в состояние восторженного воодушевления.

Он обхватил жену за талию и прижал к себе.

Мессалина осторожно высвободилась из его объятий и, нежно улыбнувшись напоследок, направилась к выходу из библиотеки.

Спустя полчаса супруги уже входили в празднично освещенный триклиний, где стоял большой стол, накрытый на восемь персон. Почетное место в центре предназначалось для Мессалины. По правую руку она усадила фабия Персика, по левую – Клавдия. С одной стороны стола расположились преторианский трибун Деций Кальпурниан и вольноотпущенник Нарцисс; с противоположной стороны удобно устроился философ Луций Сенека, по левую и правую руку от которого разместились медик Веций Валент и либертин Полибий.

Сказав, что не стоит затягивать их скромную трапезу, Клавдий заранее приказал не баловать гостей изысканными яствами. Тем не менее все блюда и вина, поданные к столу, отличались отменным качеством.

Брат Германика, как справедливо сказала Мессалина, не был богат, и в триклинии прислуживали только шесть рабов: один стольник, двое кравчих и трое виночерпиев.

Оживленные разговоры не утихали в течение всего ужина. Они начались с обсуждения недавней болезни императора, которая так искренне переживалась в народе. Весть о выздоровлении Гая Цезаря Германика, встреченная ликованием целого города, была немаловажна и для присутствовавших на вечере. Клавдий снова и снова провозглашал тосты за счастье и благополучие Цезаря, а гости их дружно одобряли и поддерживали, однако среди собравшихся восьми человек едва ли нашелся хотя бы один, в глубине души не сожалевший о подобном исходе событий. Все они, шумно выражавшие радость по поводу полного восстановления сил принцепса, были бы гораздо больше удовлетворены иным окончанием его недуга. Поэтому, оставив в стороне столь щекотливую тему, сотрапезники вскоре заговорили о разительных переменах, произошедших в поведении Калигулы.

Жестокость и кровожадность, которые стали проявляться в его характере, многие из них приписывали последствиям перенесенного заболевания. Вынужденное самоубийство

Силлана и казнь Юлия Грека взволновали всех, а особое негодование вызвали в прямодушном Деции Кальпурниане, который не удержался от резкого порицания Калигулы, поступавшего, по его словам, «как свирепое безмозглое чудовище». Вступив в спор с преторианским трибуном, Клавдий попробовал защитить племянника; еще одну точку зрения отстаивали Мессалина, Фабий Персик, Луций Сенека и вольноотпущенники, которые отчасти оправдывали поступки императора, пытаясь доказать преступные замыслы его жертв. Но приглашенные не доверяли друг другу и боялись скомпрометировать себя. Вот почему, высказывая какое-либо мнение, каждый прибегал к недомолвкам и общим фразам. Наконец гвардейский трибун, выведенный из себя этими предосторожностями, воскликнул:

– О подземные боги! Вот к чему приводит страх за свою жизнь! Как я понимаю, знатный брат Германика защищает своего племянника, потому что боится потерять его благосклонность.

– Нет-нет! Молчи! Сумасшедший! Я оправдываю своего августейшего племянника, потому что уверен, что он нуждается не в защите, а в одобрении! – громко крикнул Клавдий и, поднявшись с места, ударил кулаком по столу.

Деций Кальпурниан пожал плечами и, не обращая внимания на ярость Клавдия, продолжал:

– Ясно мне и то, почему почтенная Мессалина, как любящая тетя, старается смягчить тяжесть злодеяний Калигулы.

Произнося эти слова в ироническом тоне, Деций Кальпурниан злобно взглянул на прекрасную матрону.

Внезапно Клавдий выкрикнул:

– Не Калигула, а Гай Цезарь Август! Дерзкий ты наглец!

Трибун снова пожал плечами, на этот раз презрительно:

– Мы, солдаты, среди которых он вырос, привыкли так его называть за привычку носить короткие военные сапожки. По-моему, в этом нет ничего странного. Мне гораздо труднее понять, почему такой строгий моралист, как Сенека, такой состоятельный и могущественный сенатор, как Фабий Персик, и, наконец, человек, занимающийся таким добродетельным ремеслом, как врач Веций Валент, одобряют кровавые злодеяния, которые не могут быть оправданы даже высшими нуждами государства!

– Во имя Марса Мстителя! – чуть помолчав, уже другим тоном воскликнул Кальпурниан. – Воистину, только страх, только липкий, ползучий страх владеет сердцами в наше подлое время! Это он заползает в души, наполняет их собой и, подступая к горлу, оскверняет язык, но я не боюсь, мне смерть не страшна. И если кто-нибудь донесет на меня, то я под топором палача повторю во весь голос все, что уже сказал. Вы желаете превозносить Калигулу за эту порочную, кровосмесительную связь с его сестрой Друзиллой? У вас хватит бесстыдства открыто, перед всем миром заявить о том, что вы одобряете их союз? О боги! На днях я вместе с сотней сенаторов, всадников и важных сановников видел, как Калигула, не стесняясь нашего присутствия, похотливо прижимал к себе Друзиллу, а когда она мягко напомнила ему о необходимости хотя бы на людях уважать закон и обычай, он, не задумываясь, ответил: «Что мне закон! Закон – это мое желание, а обычай – это мой нрав!»

Услышав рассказ Кальпурниана, Мессалина возмутилась скандальной выходкой Калигулы и встала на сторону преторианского трибуна. С оглядкой порицая великопрестольный инцест, гости последовали ее примеру. Только Клавдий все еще защищал племянника, говоря, что его поведение могло быть неправильно истолковано, что в данном случае полагаться можно только на проверенные сведения, избегать преувеличений.

Однако, не дав ему досказать, Деций Кальпурниан вновь обрушился на неблагодарного Калигулу, полным забвением отплатившего за любовь Эннии Невии и за дружеские симпатии Макрона, которые помогли ему взойти на императорский трон. Если раньше пре-

фект претория рассчитывал на консульство или назначение в Египет, то теперь он может лишиться даже своего места, куда уже намеревается заступить Руф Криспин.

Тут на защиту Цезаря встала Мессалина, по мнению которой, адюльтер с Невией был ничем не лучше инцеста с Друзиллой. Негодуя на обе любовные интриги, супруга Клавдия принялась доказывать, что император в данном случае прав: слишком уже долго им помывкала эта жеманная и самонадеянная Энния, забывшая о молодости и привлекательности своего любовника. Слишком уж долго распоряжался им этот тщеславный и расчетливый Макарон, на котором, между прочим, лежит вина в насильственной смерти Тиберия. Вот уж теперь этой парочке досталось по заслугам: и старой блуднице, и бессовестному своднику, ее мужу.

Неизвестно, чем бы закончился этот спор, если бы остальные гости, которые уже немало выпили и теперь находились в благодушном настроении, не пожелали перевести разговор на другую тему. Так получилось, что страсти улеглись сами собой, и началась беседа о недавних великолепных зрелищах, устроенных эдипами в честь выздоровления императора, о самых известных красавицах Рима, об их роскошных нарядах и украшениях, о несметных драгоценностях Лоллии Палины, самой богатой женщины во всей Римской империи, об актерском даровании Марка Мнестера и вообще обо всем, что можно было обсуждать в свободной, непринужденной обстановке.

Вскоре Клавдий, как часто случалось с ним за столом, заметно опьянел и стал клевать носом. После нескольких неудачных попыток бороться со сном он откинулся на подушку, предусмотрительно положенную на подлокотник его ложа, и стал тихо посапывать.

Заметив это, Фабий Персик наклонился к уху сидевшей рядом с ним Мессалины:

– Вот видишь, божественная Мессалина, Бахус на моей стороне: так обработал твоего быка, что ему к утру не добраться до твоей комнаты.

– Не надо, мой добрый Фабий, не настаивай. Сегодня ночью я не могу, – чуть слышно произнесла она и, заметив, что гости собираются расходиться, поднялась со своего места.

– Я хочу показать тебе диадему, которую твой бедный Фабий Персик, твой единственный и настоящий супруг, приготовил тебе в подарок, – прибавил вполголоса сановный ростовщик, выходя из-за стола.

– Ну зачем? Зачем? Я так люблю тебя, что не умею отказывать твоим желаниям. Подожди, не уходи.

Произнеся шепотом эти слова, Мессалина на какое-то мгновение алчно блеснула глазами, но тут же отвернулась от Фабия Персика и пошла прощаться с остальными мужчинами.

Улыбаясь и пожимая руку каждому из них, она особенно нежно взглянула на безумно влюбленного в нее Деция Кальпурниана и, слегка коснувшись ногой его ноги, тихо проговорила:

– До завтра! В час контицилия.

Потом Мессалина подошла к Клавдию и, пробуя его разбудить, несколько раз повторила, что он должен подняться, если хочет вернуть Фабию Персику те бумаги, о которых они говорили перед ужином.

Услышав, о чем идет речь, Персик пришел на помощь и тоже принялся тормошить Клавдия, который в конце концов очнулся и, бессмысленно озираясь по сторонам, пробормотал:

– Что случилось? Что происходит, Мессалина?

В триклинии уже не было никого, даже рабов, которые ушли провожать гостей.

– Фабий Персик хочет получить обратно бумаги, которые...

– Персик? Какие бумаги? О чем ты говоришь? Я ничего не знаю. Не надоедай мне. Я хочу спать.

Глаза Клавдия снова закрылись, ему было трудно говорить.

Тогда Мессалина подала знак Персику, чтобы тот оставил их наедине, и, наклонившись к лицу обессиленного супруга, которого ей приходилось поддерживать за спину, прошептала:

– О да, бедный Клавдий, ты прав, я не буду надоедать тебе, тем более в такой час. Забудь про бумаги Персика. Спи, мой бедный муж! Твоя Мессалина позаботится, чтобы тебя отнесли в постель.

Тихий, ласковый голос Мессалины скоро убаюкал Клавдия. Снова откинувшись на подушку, он стал медленно засыпать.

Тем временем Персик, выйдя из триклиния, подозвал своего антеамбула, дожидавшегося хозяина в комнате рядом с атрием, взял у него кожаный кошелек, с которым обычно отправлялся в Палатинский дворец, и отослал слугу домой вместе с рабами, сопровождавшими сенатора в этот вечер.

Когда через несколько минут, тщательно приведя в порядок одежду и бороду, Фабий Персик вернулся в душный обеденный зал, где в полной тишине, посреди небранных блюд и опрокинутых кубков пылали полсотни свечей, освещавших всю обстановку недавнего шумного застолья, он увидел беспомощно раскинувшуюся на своем ложе фигуру спящего Клавдия и неподвижно стоящую над ним Мессалину, которая, словно о чем-то глубоко задумавшись, молча и пристально смотрела на своего супруга.

Грудь матроны тяжело вздымалась под туникой; сухие ярко-красные губы были чуть приоткрыты; нахмуренный лоб и полуопущенные веки говорили о том, что мысли женщины находились далеко от сегодняшних событий.

Вспоминала ли она годы замужества? Раскаивалась ли в неверности Клавдию, чувствовала ли угрызения совести, сожалела ли о своей распутной жизни? Или, одержимая тщеславными намерениями, мечтала о будущем величии?

Из этой задумчивости ее вывел голос Фабия Персика, который приблизился к ней и, осторожно взяв за локоть, тихо спросил:

– Что с тобой, моя прекрасная Мессалина?

– Ах! – вздрогнула она, точно очнувшись от какого-то наваждения. – Это ты? Пошли.

Взяв сенатора под руку, Мессалина направилась к выходу из триклиния. Она уже открыла дверь, когда внезапно остановилась и сказала:

– Подожди немного. Вернувшись в зал и пройдя к его главному входу, она крикнула властно:

– Эй! Заберите вашего хозяина и на, руках перенесите его в постель!

Пока она отдавала это распоряжение, Фабий Персик подошел к беззаботно похрапывавшему Клавдию и, презрительно ухмыльнувшись, снял с него домашние туфли, которые после недолгого раздумья надел, наподобие перчаток, на обе руки спящего, чтобы после утреннего пробуждения тот гадливо сморщился от вида того, чем во сне отирал пот с лица.

– Что ты делаешь? – с упреком прошептала Мессалина и, осторожно приблизившись к ложу, собралась снять туфли с рук своего мужа.

– Оставь, прошу тебя, – вполголоса произнес Персик и открыв принесенный антеамбулом кошелек, достал из него большую шкатулку, содержимое которой молча показал Мессалине.

Супруга Клавдия чуть не вскрикнула от радости и восхищения: в шкатулке лежала серебряная треугольная диадема, которой она еще не видела, ей не было равных ни по красоте, ни по стоимости. Это чудесное произведение ювелирного искусства было украшено восемнадцатью драгоценными камнями: тремя изумрудами, шестью голубыми топазами и девятью рубинами. В центре диадемы сверкал огромный изумруд, размером с голубиное яйцо, окруженный тремя крупными рубинами и двумя топазами. Такой подарок мог стоить

не меньше миллиона сестерциев. Рассматривая его, Мессалина неожиданно для самой себя воскликнула:

– Бедный Клавдий!

– Он украл у меня счастье быть твоим мужем. Я хочу отомстить ему... насмеяться... наказать, Я ненавижу его, потому что ревную тебя.

Мессалина, взяв левой рукой шкатулку с диадемой, правой обхватила шею Персика и, целуя его, нежно прошептала на ухо:

– Но ты же знаешь, я люблю только тебя одного... Пошли!.. Благодарю тебя.

И она увлекла любовника в растворенную дверь, которую плотно прикрыла за собой.

Во дворце Августа воцарилась тишина, нарушаемая только приглушенным завыванием ветра, который свирепствовал за окнами.

* * *

Тем временем в одном скромном, но уютном доме, расположенном на улице Карино, происходила мрачная драма.

Человек вошедший в этот дом, не нашел бы показной и зачастую безвкусной роскоши, с которой патриции старались обставить свое жилище; и все же многое говорило о завидном благосостоянии хозяев этого особняка на улице Карино.

Мебель, ковры, пологи на дверях, диваны, росписи на стенах и в особенности изысканная коллекция статуэток, украшавших комнаты, могли принадлежать лишь очень богатым людям. Но странной казалась тишина, заполнявшая дом, когда в соседних жилищах еще не закончилась пора шумного веселья.

Атрий дома был погружен в полумрак: остиарий давно погасил лампаду и, оставив гореть только крохотный светильник перед алтарем домашних Ларов, ушел спать в отведенную ему каморку. Темно было и в коридоре, ведущем к таблию; из четырех комнат, выходивших в него, не доносилось ни одного звука. Полуосвещенный таблий сторожили два кубикюлярия: одного, который, закрыв лицо руками, неподвижно сидел в углу, можно было принять за спящего, если бы не дрожь, то и дело пробегавшая по его телу; другой нетерпеливо прохаживался по залу, изредка останавливаясь и поворачивая испуганное лицо в сторону двери, находившейся слева от входа. За ближайшей дверью слышался приглушенный звон посуды и какое-то шушуканье. В этой комнате слуги мыли недавно убранную со стола в триклинии: они старались не производить шума. Дверь, в которую смотрел кубикюлярый, вела в уютную, задрапированную дамасским шелком спальню, где рядом с большой бронзовой жаровней стояло высокое позолоченное ложе.

Под потолком этой комнаты ярко горел серебряный светильник с четырьмя рожками. На ложе, молча уставившись в какую-то неподвижную точку, сидела непричесанная Энния Невия. Из ее широко раскрытых зелено-голубых глаз медленно текли слезы. Дрожащие губы и руки, которыми она обхватила колени, выдавали глубокое волнение женщины. По комнате ходил бледный Невий Сартоний Макрон.

Обоих постигло непоправимое горе: то грандиозное здание, строительство которого длилось четыре года и потребовало столько изворотливости, притворства, измен и обманов, вдруг, словно карточный домик, разлетелось на куски. Рухнули все планы, иллюзии и мечты. Энния не только не стала императрицей, но не оказалась даже в числе самых заурядных наложниц Цезаря: более того, отвергнутая принцепсом, она уже не могла надеяться и на объятия простого центуриона!

Сартоний Макрон, правая рука Тиберия и человек, сумевший возвысить Гая Цезаря до императорского престола, тот, кого боялись и народ, и сенат, не только не стал консулом, не только не получил назначения в Египет, но не получил даже должности префекта претория.

Презируемый теми, кто еще вчера почтительно склонялся перед ним, он знал, что завтра любой плебей сможет плюнуть ему в лицо. Только солдатская выдержка и крепкие нервы помогли ему не обнаруживать чувств, которые владели им.

В течение получаса Макрон молча шагал из угла в угол спальни. За это время он позволил себе лишь несколько раз до хруста сжать кулаки, которые, скрестив руки на груди, прятал под локтями.

Эту напряженную тишину первой нарушила Энния Невия, которая, наконец, усилием воли поборола свое оцепенение и, поднявшись, дрожащим голосом спросила у мужа:

– Итак? Что будем делать?

Ее вопрос, казалось, застал Макрона врасплох; он растерянно оглянулся и переспросил:

– Что будем делать?

Оба замерли и, словно не виделись целую вечность, уставились друг на друга: Макрон, разглядывавший бледное, мокрое от слез лицо жены, и Невия, с горьким изумлением обнаружившая, что за прошедшие полчаса черные волосы Макрона стали почти седыми. От жалости и от щемящей нежности к супругу она разрыдалась еще сильнее: бросившись на шею мужу, Энния припала белокурой головой к его груди и, всхлипывая, проговорила:

– Ох, Сарторий! Каково же тебе так страдать!

– Бедная Энния! Любимая моя! – воскликнул Макрон, одной рукой прижав к себе супругу, а другой глядя ее: по голове. – Если бы мои беды касались только меня!..

Немного помедлив, Энния осторожно высвободилась из объятий мужа и, положив руки ему на плечи, сказала:

– У нас есть большое имение в Волошии и еще усадьба в Кампании. Думаю, что два поместья худо-бедно будут приносить до девяноста тысяч сестерциев в год. Мы покинем этот коварный, порочный город и спокойно доживем до старости... или до лучших времен.

Какая-то странная улыбка скользнула по губам Макрона. Немного поколебавшись, он ответил:

– Бедная Энния! Как у тебя все просто... Бедная моя Энния!

Женщина пристально взглянула в черные зрачки Макрона. Охваченная смутным предчувствием новой беды, она тревожно спросила:

– Почему ты так говоришь?

Макрон взял жену за обе руки и, подвел к ложу, на котором она недавно сидела, потом сел вместе с ней и, не выпуская рук, тихо произнес:

– Моя нежная Энния, твой рассудок не представляет всей человеческой подлости. В душах людей жестокости больше, чем ты сможешь выдержать. Теперь, девочка, от тебя требуется много, много мужества.

– Но почему? Почему? Что случилось? – бледнея, спросила Энния.

– Случилось то... что с вершины благосклонности я низвергнут в бездну ненависти. Неблагодарный Гай стал моим непримиримым врагом.

– Что еще ему нужно? – сквозь слезы спросила Энния.

– Моей смерти, – глухо выдавил Макрон.

Протяжный стон вырвался из горла Эннии. Она вновь упала на грудь супруга и в ужасе зашептала:

– Ох, мой бедный Сарторий! За что? Ох, подлый Гай! Ох, бедный Сарторий!

– Ну, мужайся, жена моя, мужайся! Я надеюсь на тебя. Докажи, что ты меня любишь.

Энния закусила губу, чтобы сдержать рыдания, и после минутного молчания, глядя в сторону, спросила:

– Неужели нет никакого выхода?

– Какого выхода? Куда?

– Я брошусь в ноги этому негодяю...

– Тебе закрыта дорога к нему. Помнишь, когда мы сегодня ужинали, наш мажордом ненадолго вызвал меня из триклиния?

– Помню... ты еще никак не хотел объяснить причину такого срочного разговора.

– Так вот. Он передал мне короткое письмо от Гая Цезаря, который обвиняет меня в покушении на безопасность государства и, снисходя к нашей бывлой дружбе, позволяет только лишь одно – самому избрать себе вид смерти.

– Какая низость! – возмутилась Энния Невия.

– Если я хочу избежать веревки палача или топора ликтора, то должен умереть сегодня ночью.

Последовало долгое молчание, которое нарушила Энния. Она встала и решительно произнесла:

– Что ж, если нужно умереть, мы умрем оба.

– О нет! Никогда! – воскликнул Макрон, резко поднимаясь на ноги.

– А для чего жить? Для кого жить?

Несчастные супруги вступили в упорный словесный поединок, но ни настойчивые мольбы, ни веские доводы Макрона не могли поколебать отчаянной решимости его жены.

– Мы вместе жили, любили друг друга, вместе мечтали о величии и обманутые нашими надеждами, вместе умрем.

Уже во втором часу ночи бывший префект претория, бессильный перед преданностью своей жены, позвал мажордома, который дожидался в таблии, и приказал приготовить большую ванную, устроенную рядом с атрием. Потом, выполняя просьбу Эннии, пожелавшей, чтобы они привели в порядок свои дела, он отправился в библиотеку и стал внимательно просматривать хранившиеся у него бумаги. Макрон уселся перед жаровней, куда принялся бросать письма и документы, не предназначенные для посторонних глаз.

Если бы кто-нибудь застал его за этим занятием, то едва ли заподозрил бы, что через час Макрон лишит себя жизни.

Только несколько раз дрогнули мускулы на бронзовом лице Макрона. Только два или три воспоминания о прожитой жизни нарушили его суровое спокойствие.

В то же время Энния, запершись в конклаве, со слезами на глазах бросала в огонь бумаги, которые принесла в шкатулке из черного дерева.

Покончив со своей работой, Макрон достал из потайного шкафчика несколько кожаных кошельков с деньгами и вновь позвал мажордома, который, плача и шепча проклятья жестокому тирану, почтительно склонился перед ним.

– Ты всегда был верен нам, и эти слезы еще раз доказывают бескорыстную преданность хозяевам, которые обращались с тобой хуже, чем ты заслуживал, – проговорил Сарторий.

– О господин, повелитель мой! – воскликнул мажордом, которого душили слезы. – Я уже давно в твоём доме. Я служил твоему отцу. Ты был так милостив ко мне. Чего еще может пожелать бедный слуга...

Он запнулся, от рыданий у него перехватило дыхание.

– Не плачь. Смерть – это покой. Смерть – это закон, которому мы подчиняемся и который никому не дано нарушать. Выслушай меня. Завтра мой дом станет добычей императорской казны, но я не хочу, чтобы все досталось алчным прокураторам Цезаря. Возьми вот этот кошель. Он принадлежит тебе. Остальные деньги я, полагаясь на твою честность, приказываю разделить между всеми моими немногочисленными слугами. – Этот документ, – продолжал он, показывая на листок папируса, лежавший у него на столе, – отпускает на свободу всех моих слуг. Если мои бессовестные преследователи не откажутся признать его, то ты скоро станешь вольноотпущенником. А теперь успокойся и ступай, жди меня в комнате для раздевания.

Однако после этих слов мажордом разрыдался с удвоенной силой и бросился к ногам своего господина, умоляя забрать кошель и не покидать верного слугу. Хозяину стоило немалых трудов заставить мажордома взять деньги и выпроводить его из библиотеки.

Оставшись один, Макрон принялся быстрыми шагами ходить по комнате. Все его чувства вдруг вырвались наружу: глаза помрачнели, то и дело он сжимал кулаки и, точно угрожая кому-то, потрясал ими в воздухе. Гневные гримасы искажали его лицо.

– Вот как! Вот как оплачены все мои благодеяния... Поделом же мне досталось за то, что вот этими руками задушил старца и расчистил дорогу юнцу, за то, что стал сводником Гая, его советчиком, шпионом! Такой монетой ты, подлый негодяй, отплатил за все... за все сразу, без сдачи. Ох, если бы я мог вернуться хоть на один месяц назад! Одного месяца было бы достаточно! Тридцать дней назад ты, коварный Гай, уже с презрением отвернулся от Эннии, уже ненавидел меня, не выносил моего присутствия, но у тебя еще не хватало смелости разжаловать меня, ты еще трусил! Ах, во имя всех подземных богов. Месяц назад я еще стоял в твоей прихожей и мог бы одним ударом вонзить меч в твое подлое сердце. А потом... О, да! Ни величия, ни консульства, ни Египта, ни Сирии. Только смерть. Но, во имя Марса Мстителя, пусть свершится возмездие!

Взгляд Макрона был ужасен: его налитые кровью и дико вытаращенные глаза внушили бы страх любому, кто в эту минуту увидел бы бывшего министра Тиберия.

Но в конце концов его порыв сменился безразличием: обхватив голову, Макрон долго смотрел себе под ноги, потом оторвал взгляд от пола и тихо произнес:

– Теперь все бесполезно.

Он привел в порядок свою тунику и позвал кубикулария.

– Я хочу пить, – спокойно сказал он слуге, появившемуся в дверях библиотеки. – Размешай теплой водой настой тимьяна с полынью и принеси сюда.

Как только слуга удалился, Макрон вышел в коридор и направился в комнату, служившую ему спальней еще тогда, когда он не был префектом претория и постоянным спутником императора.

Вскоре он вернулся, держа в руке кожаный ремень с золотыми бляхами, на котором раскачивался из стороны в сторону испанский палаш в самшитовых ножнах, обшитых бронзовыми пластинами и украшенных золотым арабским узором. Вытащив палаш из ножен, Макрон большим пальцем левой руки попробовал лезвие и, вложив палаш обратно в ножны, положил меч на стол. В этот момент кубикуларий принес питье. Макрон принял чашу и с жадностью выпил почти половину ее содержимого; потом, оторвав губы от чаши, повернулся к слуге и спросил:

– Который час?

– Почти час интемпесто.

– Дождь идет?

– Льет как из ведра, хозяин.

Макрон снова поднес чашу ко рту и допил все, что там оставалось. Возвращая пустую посудину слуге, он произнес:

– Хорошо, можешь идти.

– Слушаюсь, – промолвил слуга и скрылся за дверью. Захватив меч, Макрон вышел вслед за кубикуларием и направился в ванную. В комнате для раздевания его встретил все еще печальный, но уже не плачущий мажордом.

– А Энния? – тихо спросил Макрон.

– Она уже в ванной, мой господин. Госпожа приказала служанке принести все ее драгоценности и решила дожидаться тебя в калодарии.

– Бедная Энния! – прошептал Макрон, начиная снимать с себя одежду.

– Мой добрый господин, – проговорил мажордом низким, дрожащим голосом, – наша синьора... Она взяла с собой бритвы.

– Знаю, – ответил Макрон и, сняв с указательного пальца правой руки массивное золотое кольцо с ониксом, протянул мажордому:

– Возьми на память. Харону перстни не нужны.

– Но... – медленно произнес слуга, машинально беря кольцо и помогая хозяину раздеваться. – Значит... наша госпожа... тоже умрет?

– Она так захотела... это ее воля, – чуть погодя ответил Макрон и, уже полностью обнаженный наклонился над скамьей, на которой лежал его меч.

– О Зевс Повелитель! – воскликнул мажордом. Закрыв лицо руками, он снова зарыдал.

Уже не обращая внимания на бедного старика, Макрон прошел через тепидариум и вскоре перешагнул порог калодария, где горели два светильника, поставленные слугами в изголовье мраморного ложа, называемого лакоником.

В тесной комнате было очень жарко. Напротив лаконика переливался бликами удобный мраморный бассейн, способный вместить четырех человек. Сейчас там по пояс в воде сидела Энния Невия. Ее пышные белокурые косы были наспех собраны на затылке. Великолепные плечи и грудь оставались над полупрозрачным зеркалом воды. На краю бассейна стояла служанка. По знаку госпожи она, отвернув голову, вышла в дверь, через которую только что вошел Макрон.

– Ох! Моя Энния! – произнес Макрон, положив меч на мраморные ступени бассейна и начиная спускаться по ним. – Еще раз умоляю тебя, дай мне умереть одному. Гай ненавидит только меня, только меня он боится: лишив меня жизни, он тебя не тронет. Энния, послушай... Прошу, оставь свою затею...

– ...чтобы вызвать ревность Друзиллы, насмешки Пираллиды, гнев Мессалины и презрение всех остальных? Ох, нет. Никогда. Сто раз нет, – решительно отозвалась Энния, целуя мужа, который в последнем порыве нежности обнял ее.

– Ну, что ж, – поникшим голосом сказал Макрон и погрузился в воду рядом с женой, оставив на поверхности только шею и голову.

– Почему ты принес меч? – спросила Энния и, вытащив из воды одну ногу, приставила бритву к лодыжке.

– Потому что его лезвие острее бритвы: это могут подтвердить и германцы, и парфяне, и фракийцы.

В ту же минуту Энния попробовала надрезать плоть, но непроизвольно отдернув руку, в ужасе отвернула голову и прошептала:

– Боги не дают мне сделать этого. У меня не хватает смелости. Я не могу.

– Так оставайся жить, умоляю тебя, Энния... останься жить... прошу, в последний раз докажи мне свою любовь, – воскликнул Макрон и, отобрав бритву у жены, поднялся на верхнюю ступень бассейна. Там он резким движением вскрыл вены на обеих своих лодыжках и перерезал левое запястье, после чего отшвырнул бритву.

Энния Невия, расширенными от ужаса глазами наблюдавшая за мрачными манипуляциями супруга, при виде крови смертельно побледнела и испустила надрывный вопль.

– Не кричи, Энния. Это не страшно... – корчась от боли, проговорил Макрон.

Сказав так, он опустил в теплую воду.

Энния взяла в руку другую бритву и зажмурилась. Потом, собравшись духом, она подтянула к себе правую ногу и с силой резанула по ней. Едва затих ее сдавленный крик, как она, не разжимая глаз, подтянула левую лодыжку и проделала с ней то же самое. Снова вскрикнув, она быстро перерезала пульсирующую вену на левой руке и, переложив бритву в левую, уже кровоточащую руку, открыла вены на правой. После этого она отбросила бритву и погрузилась в воду.

зилась в воду. На поверхности осталось только мертвенно-бледное лицо с закрытыми глазами.

– Твое желание выполнено, моя нежная Энния, – печально сказал Макрон и, немного погодя, добавил: – Ты чувствуешь боль. Но скоро она пройдет.

Женщина молчала. Ее голова неподвижно лежала на ступеньке бассейна. Не слыша ответа, Макрон взглянул на безжизненное лицо супруги и прошептал:

– Мертва!

Он поднялся на ноги и, оставаясь по пояс в воде, подошел к жене. После безуспешных попыток получить ответ от Эннии он поцеловал ее в лоб и пробормотал:

– Странно... Я думал, что не выдержу ее агонии. Обеими руками взяв рукоять меча, лежавшего на ступенях, Макрон приставил его острие к левой стороне мускулистой груди и с силой рванул на себя. От боли он пошатнулся, но успел вытащить оружие из раны, откуда сразу же хлынула кровь. Меч выпал из рук, и Макрон рухнул в воду, ударившись лицом о край бассейна.

Тело бывшего префекта претория скрылось под водой. Там, где он упал, стало расплываться розовое пятно. Макрон попал мечом прямо в сердце и умер почти мгновенно.

Энния Невия не приходила в себя довольно долго. Наконец она очнулась и тихо позвала Макрона. Не слыша его голоса, она с трудом приподнялась и огляделась, но не увидела мужа. Тогда она громко закричала. На ее душераздирающий крик сбегались рабы и рабыни, но не могли прийти на помощь госпоже. Макрон, проводив служанку, запер дверь на ключ. В тепидариуме началась паника. Когда же, взломав дверь, рабы ворвались в калодарий, то застали в нем только безутешно плачущую Эннию и были вынуждены позвать слуг, потому что госпожа просила найти их хозяина.

Мажордом и двое рабов спустились в ванную и оттуда, где вода была наиболее розовой, вытащили обескровленное тело Невия Сартория Макрона. Лицо его было спокойно, глаза широко раскрыты. Из страшной раны все еще сочилась кровь, стекая на мраморный пол калодари.

– О Макрон! О мой любимый Макрон! – всхлипнула Энния Невия и дрожащим голосом приказала положить рядом с ней тело супруга.

Когда приказание было выполнено, она принялась целовать и гладить его голову. От этого занятия она отвлеклась лишь на минуту и только для того, чтобы заставить замолчать раба-хирурга и мажордома, которые хотели перевязать ей вены.

Тем временем теплая вода и горячий воздух ускоряли обильное кровотечение Эннии Невии. Крупные капли пота выступили на ее прозрачно-бледном лице, во всем теле она стала ощущать какую-то приятную усталость. Эта усталость обволакивала ее, расслабляя напряженные мускулы и гася мысли. Вскоре ею овладели сонливость и апатия.

Она склонила свою белокурую голову на мраморную ступень бассейна, веки ее медленно закрылись, она стала испускать слабые стоны вперемешку с какими-то звуками. Энния шептала то одно, то другое имя:

– О коварный Гай! Ох, мой Макрон!

Ее предсмертный бред продолжался больше часа. Все это время рядом находились две служанки: одна, бледная и неподвижная, стоя, как мраморное изваяние, смотрела на агонию госпожи; другая опустилась на колени перед краем бассейна и плакала, не отнимая рук от лица. Мажордом, который уже выплакал все слезы, молча сидел на ложе и отстранение глядел то на тело своего бывшего хозяина, то на его умирающую супругу.

Внезапно тело Эннии соскользнуло по ступеням и скрылось под водой. В то же мгновение рабыни и мажордом, как были, в одежде бросились в бассейн и общими усилиями вытащили Эннию Невию, которая от сотрясения пришла в себя и стала вновь звать Цезаря и Макрона. Поддерживаемая слугами, женщина прошептала еще несколько слов:

– Оставьте меня в ванной. Не мешайте мне умирать. Я так хочу.

Она закрыла глаза, но через несколько минут вновь их открыла и посмотрела, на людей и предметы, окружающие ее. Приподнявшись, обхватила правой ладонью рану на левой руке. Когда в ладони набралось немного крови она отняла правую руку и посмотрела на нее.

Это неожиданно придало ей силы. Слабым голосом, но внятно она медленно произнесла:

– Гай Цезарь... Германик... Да падет на тебя гнев божий... за эту невинную кровь! Да не простится тебе твое коварство... Да покарают тебя подземные духи!

Собрав остатки сил, она подняла правую руку, стряхнула с нее кровь и рухнула на край бассейна. Ее левая рука свесилась почти до воды, в которую стекали последние капли крови Эннии Невии, смешиваясь там с кровью ее супруга, Невия Сартория Макрона.

Наступила гнетущая тишина. Стоя неподвижно, слуги слышали, как свирепо завывает ветер на улице Карино.

Глава VI Средство против Цезаря. – Тит Флавий Веспасиан встречается с Локустой

В первое утро 791 года на римских улицах, освещенных яркими лучами солнца, гулял крепкий северный ветер. Было морозно, но день выдался на славу.

На всех дорогах царила необычная суматоха. Клиенты торопились посетить своих покровителей. Сенаторы, всадники и магистры спешили засвидетельствовать почтение императору.

Настал день новогодних подношений. Перед каждым домом знатного или богатого римлянина выстроились по две очереди оживленных людей: одни входили внутрь, другие выходили наружу.

Первые держали в руках цветочные венки, разноцветные восковые свечи, плетеные кошелки со сладостями, вазы с сушеными фруктами, шкатулочки для всякой всячины, бронзовые подносы, серебряные канделябры... словом, то, что позволял их достаток. Бедняки прятали под тогами пустые ивовые корзины для предназначенных им остатков с обеденного стола.

Вторые – либо сразу удалялись с доставшейся им снедью, либо обменивались тем, с чем вышли от щедрого благодетеля, либо, всем довольные, хвастались полученными гостинцами.

Исключая самых нищих, все горожане, сновавшие по главным улицам Рима, были одеты в тоги, лацерны и пенулы белого цвета, служившего символом умиротворенности и покоя.

Длинные вереницы людей тянулись к Капитолию, чтобы принести жертвы в храм Зевса Громовержца. Рабы и вольноотпущенники бережно несли подарки своих хозяев, посылавших друг другу знаки уважения и дружбы.

Весь город жил праздником: всюду мелькали радостные лица, слышались возгласы и поздравления.

Дворец Тиберия был переполнен. Вот уже больше часа сюда несметной толпой пребывали сенаторы, консулы, патриции, всадники, благородные дамы и почтенные матроны. Все, чем были богаты стены Вечного города, все, что в нем славилось происхождением, богатством, успехами в искусствах, в общественных делах или в военной службе, – все, казалось, спешило появиться на Палатине.

Посреди громадного тиберианского таблия, рядом с роскошнейшим тронем стоял Гай Цезарь Калигула, облаченный в белую тунику с золотым шитьем и увенчанный золотой короной. На его плечи был изящно накинут императорский пурпур.

Справа от него, одетая в изысканно украшенную тунику, стояла грациозная Друзилла. Ее диадема, ожерелья, колье и браслеты, стоившие не меньше двадцати миллионов сестерциев, были украшены крупными рубинами, топазами, изумрудами и ониксом. В правом ухе мерцала нить матового жемчуга ценой в десять миллионов сестерциев.

Чуть поодаль сияли своими ослепительными украшениями Агриппина и Ливилла, а за ними виднелась пышно разодетая Мессалина.

В стороне от женщин императорской семьи, в глубине просторного таблия собрались муж Агриппины Гней Дониций Энобарб, муж Ливиллы Марк Виниций Калатин, Тиберий Клавдий Друз, оба новых консула Марк Аквиллий Юлиан и Публий Ноний Аспренат, вольноотпущенник Калисто, Марк Мнестер, Авл Вителий и новый префект претория Руф Криспин. Они были окружены матронами и благородными девицами из богатых домов.

Из-за левого плеча Калигулы выглядывал долговязый, изжелта-бледный вольноотпущенник Протоген, который в этот день исполнял обязанности номенклатора. Протоген вполголоса называл имена людей, по очереди подходивших к семье Цезаря.

Гости торжественно поздравляли Гая и его сестер.

– Аве, Цезарь! Да будешь ты сто лет править миром!

– Да прославится в веках твоя империя!

– Да подарят боги сто лет жизни тебе и твоей семье!

– Вечная слава Гаю Цезарю Германику Августу!

– Вечного процветания роду Германика!

– Аве, Гай Цезарь, божественный и бессмертный!

На широком сирийском ковре либертин Калисто складывал роскошные подарки.

Тот, кому они предназначались, с надменной улыбкой принимал поздравления, изредка кивая головой или обращаясь к посетителям и посетительницам с двумя-тремя словами, приводившими их в немалое замешательство.

– Гней Корнелий Сципион и его жена Поппея Сабина, – прошептал на ухо императору Протоген, когда перед ними предстала ослепительно красивая и великолепно одетая матрона, сопровождаемая сенатором.

– Привет тебе, Сципион, выбравший в жены самую очаровательную женщину Рима. Если не считать моей божественной Друзиллы.

Зардевшись от похвалы, Сципион и Поппея поблагодарили Цезаря и передали в руки Калисто небольшую, но очень дорогую халцедоновую чашу.

– Я признателен тебе за этот подарок, Сципион, – продолжал Калигула со странной улыбкой на лице. – Право, знаешь, как велики расходы Цезаря. Не забывайте же и впредь его нужд, благороднейшие потомки старинных латинских родов! Ведь вам известно, что Цезарь должен содержать и плебеев, и преторианцев. У бедного Цезаря долгов больше, чем денег!

Услышав эти слова, одни удивились, а другие возмутились, хотя никто не выразил ни удивления, ни возмущения. Наоборот, одобрительный шепот пронесся по просторному залу.

Новому претору Луцию Апронию Цезонию, который, кланяясь и заискивая, преподнес Калигуле маленький кинжал с рукоятью, усыпанной бриллиантами, он сказал:

– Что это, Апроний? У тебя не нашлось ни одного слова для моих сестер!

А когда неудачливый претор, смутившись, рассыпался в любезностях перед его семьей, то император вдруг грозно нахмурился:

– Так вот. Вы и весь римский народ должны запомнить, что, обращаясь к кому-нибудь на общественных собраниях или давая обет, отныне нужно добавлять слова: «ради счастья и славы Цезаря и его сестер».

Раздались громкие крики:

– Славы и счастья Цезарю и его сестрам!

И вновь последовали богатые подношения Калигуле, который, время от времени обнимал и ласкал Друзиллу, нашептывая ей самые нежные слова.

– Слава Друзилле, твоей очаровательной сестре! – воскликнула прелестнейшая из всех девушек Рима, Домиция Лепида, сестра Гнея Домиция Энобарба и племянница Агриппины.

– И моей любимой жене! – сипло добавил Калигула. Новая реплика императора вогнала в краску и Домицию, и Друзиллу, которая осторожно упрекнула брата за произнесенные слова. Калигула тут же громко прикрикнул на нее:

– Как ты не можешь понять, что мои желания равносильны закону? Во имя богов, которых я и в грош не ставлю, всему Риму должно быть известно, что желание его повелителя – закон!

После этих слов в таблии воцарилась гнетущая тишина, которая продолжалась больше часа, пока Цезарь принимал подарки и робкие поздравления смущенных гостей. Окончив

прием, Цезарь и его приближенные отправились в просторную залу, где для них были приготовлены изысканные угощения.

В тот день в окружении императора оказался один молодой человек, который прежде не был в числе избранных, а потому привлекал к себе множество любопытных взглядов. Выше среднего роста, широкий в плечах, он отличался крепким телосложением. Наклон его головы, прочно сидевшей на могучей шее, говорил о скрытой внутренней силе. У него были маленькие пронизательные глаза и темная густая шевелюра, на которую, впрочем, уже наступали ранние залысины. На его белой, окаймленной пурпуром тунике красовался знак отличия эдила курии. Это был двадцатидевятилетний Тит Флавий Веспасиан, избранный эдилом на 791 год. Он только что заступил на свой пост.

Новый эдил родился в 762 году по римскому летоисчислению в плебейской семье, проживавшей в Фалакрине, небольшом предместье Рьети. Его дед, Тит Флавий Петроний, воевал в первой гражданской войне на стороне Помпея, но был прощен Юлием Цезарем и даже получил должность сборщика налогов. Его отец долгие годы был государственным казначеем в Азии, потом стал ростовщиком и переехал в Элвещию, где у него и Веспасии Поллии, дочери претора, родились Тит Флавий Сабин и Тит Флавий Веспасиан. Последний немало лет провоял простым легионером в Иллирии, прежде чем, отличившись при подавлении восстания во Фракии, заслужил звание трибуна и в качестве квестора был послан на Кипр. Недавно вернувшись в Рим, он был полон решимости показать себя образцовым эдилом, чтобы добиться чина претора, а затем снискать желанные консульские почести.

Человек слова и дела, Тит Флавий был от природы наделен здравым смыслом, острой пронизательностью и практической хваткой. Отказавшись от ложных предрассудков своего сословия, он научился угождать вкусам сильных мира сего и находить выгоду во всем, даже в своем происхождении. Пользуясь властью денег и влиянием нескольких могущественных покровителей, он ради осуществления своих замыслов не раз прибегал к поддержке простого народа. Его врожденное властолюбие было подкреплено десятью годами военной службы. Они же в нем развили чувство долга и беспрекословного подчинения закону.

В Риме он занимался торговлей рабами и лошадьми, которая, благодаря плебейской сноровке, приносила немалые барыши новому эдилу. Речь его была по-плебейски безыскусна и по-своему выразительна. Порой он позволял себе грубое, но меткое словцо, способное заменить целую тираду напыщенных любезностей. Таков был новый друг молодого принцепса, привлекавший внимание многих гостей Калигулы.

Через час, по желанию сестер, намеревавшихся принести жертвы и предстать перед горожанами в своих роскошных нарядах, Калигула и его окружение отправились к Капитолию, в храм Верховного Божества. Впереди императорского шествия выступала центурия преторианцев.

– Я гениален, – говорил Калигула Друзилле, которая, сжимая руку брата, шла рядом с ним, – потому что для меня нет ничего невозможного. Мне скучно делать то, что делали до меня. Возводить храмы, базилики, термы, дворцы – что в этом нового? Все это делали до меня и Агриппа, и Август, и Тиберий. Нет, меня привлекает только неожиданное, невиданное прежде никем!

– О да! Новое... неожиданное... невиданное, – низким голосом вторила ему Друзилла, нежно пожимая ладонь Калигулы.

– Да? Тебя тоже вдохновляет моя идея? Вот за что я люблю свою сестру, свою очаровательную возлюбленную! Ну, так слушай, моя обожаемая Друзилла!

Взяв под руку сестру, он продолжал:

– Тебе нравится охота на пантер? Или заезды колесниц, от которых сенаторы без ума? До смерти ненавижу сенаторов. Всеми силами буду издеваться над ними. Спесивые вырождающиеся древних родов, я их заставляю целовать подошвы моих сандалий!

– Да, да, – подхватила Друзилла, с каким-то детским восторгом прижимая к груди руку Гая, – унизить всю эту знать. Заставить их скакать в цирке!

– Они ведь любят скачки!

– Да! да!

– А тебе понравится мост из Байи в Поццуоли?

– Мост из Байи в Поццуоли? – с удивлением переспросила Друзилла и недоумевающе посмотрела на брата.

– Ну? Даже ты удивилась? Хорошо! Так вот, твой Гай осуществит эту невероятную затею. И знаешь, где мне пришла в голову такая великолепная мысль? На Капри, во время нашего мрачного заточения! Подлый Тиберий был готов составить завещание в пользу своего сына Тиберия Гемелла, но астролог Трасилий, желавший убедить этого негодяя в отсутствии других претендентов на трон, сказал: «Гай станет императором только тогда, когда сможет проскакать на лошади через Байский залив». Теперь я на престоле, но, чтобы сохранить власть, нужно выполнить предсказание Трасилия. И ты увидишь, я проскачу на лошади через весь залив.

– Как здорово! Как замечательно ты придумал! – хлопая в ладоши от удовольствия, засмеялась Друзилла.

– Чему ты так радуешься? – спросила Ливилда, которая вместе с Агриппиной следовала за братом.

– Потом узнаешь, – бросил Калигула, – сейчас еще рано все рассказывать.

– Гай, скажи мне одну вещь, – задала вопрос Агриппина, – почему сегодня рядом с тобой нет нашего кузена Тиберия Гемелла?

Внезапно побагровев, Калигула остановился и повернулся к сестре. Выпустив руку Друзиллы и жестом показывая Ливии, что она должна идти дальше, он прошипел прямо в лицо супруге Домиция Энобарба:

– А какое тебе дело до Тиберия Гемелла? А? Тебе какое дело?

– Ох! Я не хотела тебя обидеть, мой добрый Гай, – побледнев, пробормотала Агриппина. – Он все время был с нами. Ты даже назначил его главой юношества. Ты любил его. Ты его усыновил.

– А теперь я покончу с ним, – грозно нахмурившись, прошептал Калигула и, схватив локоть сестры, сильно сдавил его.

– Ой! Отпусти, Гай. Мне больно, – простонала Агриппина, пытаясь высвободить руку. – Прости меня, я не хотела...

– Ты его любишь!

– Нет, нет!

– Этого слащавого щеголя! Тибериевский выкормыш, он хотел похитить тебя у императора! А если я ему позволю, то он украдет у меня и трон! Но!

И в его «но» прозвучала недвусмысленная угроза.

– Нет... это не так... я не люблю его... не волнуйся, Гай.

– Во имя Геркулеса, мои сестры должны принадлежать мне, любить меня одного! Вы не должны любить даже своих мужей. Я поступлю с тобой, как поступил с Друзиллой, от которой прочь прогнал ее мужа, Кассия Лонгина. Ливию разведу с ее Виницием. И горе тому, кто будет противиться моей воле!

С искаженным от ярости лицом он пошел дальше, бормоча под нос:

– Шут! Комедиант! Он вздумал носить при себе таблетки с противоядием! Как будто существует средство от гнева Цезаря! Дурак!

Тем временем процессия приблизилась к храму Зевса Громовержца, окруженному плотной толпой народа. Расталкивая тех, кто стоял на пути, преторианцы освободили широкий проход для императора и его свиты.

Внутри все было готово к празднику. Голубым дымком курились благовония и фимиам. Возле алтаря лежали венки, преподнесенные горожанами.

Член коллегии жрецов почтительно поклонился Калигуле, которого сенат недавно произвел в сан Великого Понтифика.

Вольноотпущенник Калисто возложил к алтарю Божества золотой венок от Цезаря и серебряные венки его сестер, приготовленные для посвящения в храм. Сбоку от алтаря стоял Тиберий Друз Гемелл, глава юношества, недавно принеший венок от всего всаднического сословия.

Тиберию Друзу Гемеллу, сыну Тиберия Друза, как и сестре Германика, Ливии, исполнилось девятнадцать лет. Он был строен и миловиден. Его непроницаемо черные глаза нравились многим женщинам из высшего общества. Когда стихли радостные возгласы, вызванные появлением Цезаря и его подарками Зевсу, Тиберий Гемелл, приложив левую руку к груди, а правую подняв над головой, громко крикнул:

– Славы и здоровья божественному императору Гаю Цезарю Германику Августу!

– Здоровья... да, здоровья! – нахмурившись, прошептал Калигула и свирепо добавил:

– Средство против Цезаря?!

Он приблизился к принцепсу юношества и, саркастически взглянув на него, произнес:

– Мне сказали, что ты, неблагодарный Тиберий, которого я так опрометчиво усыновил, принимаешь пилюли с противоядиями. Ты что, не доверяешь мне?

– Ох... да уберегут тебя боги от таких мыслей – умоляюще сложив руки, воскликнул Тиберий, побелевший как полотно. – Я принимаю только те пилюли, которые Карикл мне назначил от кашля.

Словно в подтверждение своих слов, он вдруг сильно закашлялся. В ответ Калигула как-то странно усмехнулся:

– Ладно, ладно! Нет средства против Цезаря... только против кашля.

Он повернулся к сестрам и спокойно объявил:

– Перед обедом мы идем в городской парк. И вслед за преторианцами направился к выходу из храма. В это время Агриппина подошла к Друзилле и вполголоса попросила ее заступиться за кузена:

– Гай послушает тебя. Ты единственная, кто может спасти бедного Тиберия.

Друзилла обещала сделать все возможное, чтобы предотвратить несчастье. По ее мнению, гнев брата должен был скоро угаснуть, и тогда осторожными, мягкими увещаниями, которые всегда оказывали благотворное влияние на Цезаря, можно будет выручить Тиберия Гемелла. Поспешив за Калигулой, Друзилла ласково обняла его и стала умолять не сердиться на юношу. Но, увы, ее старания были тщетны. Более того, неожиданно рассвирепев, император обвинил сестер в том, что они настроены против него. В конце концов, Друзилла не выдержала и с досадой сказала:

– Ты сегодня плохой. Сначала кричишь на меня, а потом хочешь, чтобы я верила в твою любовь! Больше никогда не буду верить тебе!

А когда Калигула нежно погладил ее руку, она прошептала:

– Хочу вернуться к Кассию, к своему мужу.

– Что?! Во имя всех земных богов! – взбеленился Калигула. – Ты хочешь, чтобы я задушил тебя собственными руками?!

Он взял под локоть Ливиллу и, обернувшись к остальным, сообщил, что они возвращаются во дворец Тиберия.

Войдя в атрий, он пропустил женщин вперед и, подозревая преторианского трибуна, дежурившего в этот день на Палатине, прошептал несколько слов ему на ухо.

Приказ был настолько необычным, что трибун отшатнулся и удивленно взглянул на Цезаря, словно хотел спросить, не ослышался ли он.

– Ты меня не понял? Ты что, армянин, или я говорю на языке сарматов? Иди и выполняй.

Трибун молча поклонился и направился к храму Аполлона, видневшемуся невдалеке.

Три часа спустя Тит Флавий Веспасиан, наскоро пообедав и закончив все дела в табулярии, отпустил сопровождавшего его ликтора и покинул Капитолий. Спустившись к Форуму, он прошел через Карментальские ворота, миновал улицу Большой Клоаки и взобрался на вершину холма Авентин. Там, свернув на улочку Сульпиций, он обогнул храм Дианы Авентийской и вскоре остановился у скромного, но изящного домика, выстроенного в коринфском стиле.

Эдил постучал. Ему открыл остиарий.

– Ступай к Локусте, – сказал сановник, – и передай, что с ней желает беседовать эдил Тит Флавий Веспасиан.

Остиарий был прикован к стене длинной цепью, не пускавшей его из атрия и не позволявшей видеть то, что происходило за его пределами.

В ответ на слова Веспасиана дверь закрылась, и за ней послышалось удаляющееся позвякивание цепи.

Дверь отворилась снова, и на пироге возник другой раб, который, внимательно оглядев гостя, провел его в таблий, украшенный яркими фресками.

Через несколько минут появилась Локуста. Это была смуглая полная женщина, от нее исходил сильный аромат духов и благовоний.

Она была одета в белоснежную столу, очень шедшую к темному цвету ее кожи. Умщенное каким-то матовым косметическим средством лицо хозяйки дома выглядело почти бесстрастным, но это лишь подчеркивало выразительность ее умных, проницательных глаз.

– Сальве, почтенный эдил! – произнесла она тихо, мягким голосом. – Чем обязана чести твоего визита? Локуста, скромная ученица великих магов и чародеев, слушает тебя. Усаживайся поудобнее, я к твоим услугам.

Тит Флавий Веспасиан приветливо кивнул головой и, усевшись на скамью, ответил:

– Перед тобой, мудрая Локуста, человек, который не верит ни в предсказания, ни в волшебство, ни в другие сверхъестественные силы, но хочет узнать кое-какие секреты твоего ремесла. Пусть тебя не смущает, что этот человек наделен властью эдила: простые, дружеские отношения ему нравятся больше, чем обращение к силе.

Казалось, Локуста растерялась от таких слов и в то же время не могла или не хотела скрывать удивления, вызванного просьбой сановника.

– Как? Ты не веришь в сверхъестественные силы, в астрологию, в искусство магии? Невероятно! И при этом желаешь вот так сразу постичь все тайны моей науки... точно они даются по распоряжению сената! Ты не шутишь, почтенный Веспасиан? Ты действительно думаешь, что это так просто?

Веспасиан улыбнулся. Он с любопытством взглянул на колдунью и, отрицательно покачав головой, твердо произнес:

– Хорошо! Ты должна была показать, что удивлена и даже возмущена моими претензиями, неверием, пренебрежением к чудесам и так далее... Еще бы! Какой жрец или предсказатель станет говорить с непосвященным обо всех фокусах и уловках, на которых держится его профессия? Так же, как у лавочников и мясников. Никто из них не говорит о своих секретах! Но во имя Геркулеса, не таи их от меня. Я же прекрасно знаю, да и ты в глубине души уверена, что без надувательства вам не обойтись! А ты, если захочешь, сможешь открыть, я уверен, очень много! Так скажи, я прошу, я требую. Тебя ждет крупное вознаграждение!

На сей раз колдунья снисходительно улыбнулась. Она слушала эдила, насмешливо склонив голову, а когда он закончил, спокойно проговорила:

– Боги – свидетели моего уважения к столь почтенному человеку и могущественному сановнику, как ты. Таких твердых и решительных людей, видящих только обман или детскую забаву во всех делах авгуров и прорицателей, когда-нибудь станет очень много. Хотя ты первый, кто так откровенно и прямо говорит мне о своем неверии. Но я, двадцать лет учившаяся у мудрейшей Мастины, овладевшая тайнами астрологии, медицины и магии, я, располагающая тысячью доказательств истинности этих знаний, уважаемый Веспасиан, не могу сомневаться в их беспредельной власти. Ты можешь обвинить меня в колдовстве, заточить в темницу как сумасшедшую. Тебе, эдилу, будет нетрудно найти какие-нибудь преступные замыслы в моих заклинаниях, в непонятных манипуляциях, в необъяснимых с точки зрения здравого смысла явлениях или в магических записях. Но я умру невинной, а перед смертью повторю: моя наука – это не обман!

– Хорошо, хорошо, – с некоторым раздражением сказал Веспасиан, – оставим этот разговор. Думай, как тебе больше нравится. Я не могу заставить тебя отказаться от твоих убеждений, но и ты не поколеблешь моих.

– Кто знает! Кто знает! – перебила его Локуста.

– Как бы то ни было, – продолжал эдил, – я прошу тебя только об одном: дай мне возможность присутствовать при твоих опытах. Если ты по сто раз на дню выслушиваешь тех, кто тебе верит, то почему бы однажды не пойти навстречу человеку противоположных взглядов?

Локуста не отвечала. Слегка потупив глаза, она о чем-то думала. Веспасиан внимательно рассматривал ее неподвижную фигуру и, казалось, был вот-вот готов рассмеяться.

Наконец, Локуста выпрямилась и произнесла:

– Взвесив все за и против, почтенный Веспасиан, я согласна удовлетворить твоё желание. Кто знает, может быть, познакомившись поближе с моим искусством, ты переменишь свое мнение о нем? Мне, право, обидно, что меня считают бессовестной плутовкой.

– Кто знает! Кто знает! – передразнил ее Веспасиан, пришедший в веселое расположение духа.

– Тогда будь добр следовать за мной. Ты готов?

– Во мне не сомневайся! – бодро ответил Веспасиан и, предшествуемый колдуньей, направился в лабораторию, которая была устроена в комнатах, примыкавших к табию.

Войдя в первую из четырех комнат, где дневной свет заменяла большая лампада, освещавшая множество каких-то растений в глиняных горшках, Локуста взяла Тита Флавия Веспасиана за руку и прошептала:

– Я отведу тебя туда, откуда ты сможешь незаметно наблюдать за всем происходящим. Но обещай мне, что ни словом, ни жестом не выдашь своего присутствия. Что бы ни случилось, ты должен быть нем как рыба.

– Обещаю! – заверил ее эдил и, пройдя по длинному коридору, очутился в крохотной каморке, откуда через маленькое отверстие в пологе из александрийского сукна можно было заглянуть в соседнее помещение.

– Оставайся здесь и не двигайся до тех пор, пока я не приду за тобой, – проговорила ворожея и, бесшумно ступая по толстому ковру, устилавшему пол коридора, удалилась.

Веспасиан непроизвольно коснулся рукоятки своего меча, а затем прильнул глазом к отверстию в пологе. Вначале он не увидел ничего, кроме какого-то голубоватого свечения. Ему показалось, что он смотрит в расплывчатое облако, лишённое определенных очертаний и контуров. Однако понемногу глаза эдила привыкли к полумраку и смогли различить странную обстановку просторной комнаты.

Перед Веспасианом была довольно вместительная прямоугольная зала. Все её пространство было увешано тяжелыми коврами, замысловато переплетающимися между собой; плавными каскадами ниспадая с потолка, они напоминали какой-то огромный цветок, при-

чудливую розу, перевернутую лепестками вниз, из центра которых свисала круглая серебряная лампада. В этой лампаде горел небольшой шарообразный светильник, наполовину освещавший лабораторию колдуньи. На полу комнаты лежал мягкий ворсистый ковер, посередине которого, прямо напротив входа, высились шкафы и стеллажи, расставленные в идеальном порядке.

В одном шкафу виднелись скрученные в трубки листы пергамента. В другом стояли ряды пузырьков и чаш с какими-то жидкостями. На стеллаже застыли стеклянные вазы с высушенными травами; в других вазах тускло поблескивали различные хирургические инструменты и приспособления: от больших акушерских щипцов до маленьких стальных пинцетов. На подставке лежал деревянный голубой шар, на котором были нарисованы созвездия, знаки Зодиака и обозначены пути движения звезд, какими их представлял Аристарх Самский, смевавший утверждать, что Земля крутится вокруг собственной оси. Рядом с этим шаром находились три человеческих черепа и множество анатомических моделей из воска, изображавших части и внутренние органы человеческого тела. На длинном столе были собраны всевозможные тигли, колбы, змеевик, горелки и другие приспособления для алхимических опытов.

Рядом со шкафами стоял изящный терракотовый камин с множеством медных трубок, из которых струился голубоватый дым, стелившийся по комнате и окутывавший все предметы, кроме высокого помоста, на котором стоял стол из черного дерева. К столу было придвинуто большое кресло, обитое пурпурной тканью. Очевидно, на нем колдунья сидела во время своих сеансов.

У самого входа были расставлены четыре скамьи и две софы, покрытые такими же коврами, какие висели в комнате.

Прошло минут пять, прежде чем Тит Флавий Веспасиан, удивленно рассматривавший эту таинственную обстановку, увидел, как раздвинулись складки ковров и прямо перед ним возникла Локуста, облаченная в огненно-красный балахон с черными росписями. Ее талия была перетянута серебряным плетеным поясом. Бросив взгляд на полог, за которым скрывался эдил, она жестом дала ему понять, чтобы он внимательно наблюдал за происходящим, и стала подниматься по ступеням, ведущим к столу из черного дерева. Затем, устроившись в кресле, она взяла со стола серебряный колокольчик и трижды позвонила в него.

Веспасианом овладело такое любопытство, какого он еще никогда не испытывал. Человек по натуре сдержанный, он сам не понимал причин своего волнения. Гадая о дальнейших действиях колдуньи, он еще плотнее прильнул к отверстию в драпировке. Долго ждать ему не пришлось: дверь в лабораторию сразу отворилась, а на пороге появился дряхлый, сгорбленный раб, одетый в длинную тунику зеленого цвета. Локуста повернула голову в его сторону и негромко произнесла:

– Пусть войдет тот, кто желает меня видеть. Слуга отступил в темноту, а в комнату твердой походкой вошла высокая и стройная молодая женщина. На ней была широкая лацерна на горностаевом меху. Убедившись в том, что раб оставил ее наедине с вещуньей, она сделала несколько шагов и откинула капюшон, который скорее скрывал от посторонних взглядов, чем защищал от холода ее прекрасное одухотворенное лицо.

Веспасиан чуть не вскрикнул от удивления: если бы он заранее не приготовился к любым неожиданностям, то его знакомство с магическими науками на этом бы и закончилось. В молодой патрицианке он узнал Агриппину, дочь Германика и сестру Гая Цезаря.

– Ну? Что привело тебя в этот дом, знаменитая Агриппина? – любезным тоном спросила Локуста и, спустившись по ступеням, приблизилась к гостье.

– Я пришла просить твоей милости, Локуста! – внезапно воскликнула Агриппина и умоляюще протянула руки. – Настал час доказать всю твою мудрость, всю силу твоего искусства!

– Да что случилось? Успокойся... говори, как мои знания смогут пригодиться тебе, – прошептала колдунья, осторожно взглянув в сторону Веспасиана и знаком пригласив посетительницу занять место на софе.

– Что случилось? Нужно спасти Тиберия Гемелла, на которого ни за что ни про что прогневался Цезарь.

– Средство против Цезаря? – тихо пробормотала колдунья, погрузившись в какие-то невеселые мысли.

Она прикрыла глаза и задумчиво добавила, точно отмечая что-то про себя:

– Ох! Я это предвидела!

– Прекрасно, что ты все предвидела!.. но сейчас над ним собрались тучи, вот-вот грянет страшный гром. Сейчас нужно любыми средствами спасти бедного Тиберия!

– Тсс! – словно очнувшись от тяжелого наваждения, зашипела Локуста, еще раз испуганно посмотрев в сторону притаившегося эдила.

Взяв Агриппину за руки, она сказала:

– Вставай, пойдем со мной.

И увела ее в глубь комнаты.

– Нас кто-нибудь слышит? – пристально взглянув в лицо колдуньи, спросила Агриппина.

– Нет... нет... но осторожность не бывает лишней.

– Твои противоядия, которые ты дала... твоё колдовство... Неужели ничего не поможет?

Беседуя, обе женщины прошли в темный угол комнаты, откуда их приглушенные голоса уже не доносились до Веспасиана.

«Ну и ну! – подумал Тит Флавий. – Эта шарлатанка знает не только секреты своего ремесла! Если я пробуду здесь еще пару часов, то мне, пожалуй, придется вспомнить обязанности эдила».

Заинтересованный разговором, он весь обратился в слух, однако ничего не мог слышать. Прошло немало времени, прежде чем Веспасиан догадался, что женщины вышли из комнаты через какую-то потайную дверь. Ему показалось странным столь долгое отсутствие хозяйки дома. Решив, что она забыла о нем, эдил начал волноваться. Два или три раза он пытался проникнуть в комнату, но все его усилия оказались тщетными: тяжелый полог вплотную прилегал к стенам и к полу его каморки. Он уже подумывал о том, чтобы попросту разрезать его мечом, когда наконец увидел, как в двери, через которую входила Агриппина, появилась Локуста, сопровождаемая худым, почти лысым голубоглазым молодым человеком. Несмотря на то что вошедший был одет, как плебей, походка выдавала в нем знатного патриция. Веспасиан сразу узнал посетителя. Это был Сервий Сульпиций Гальба.

– С чем пожаловал, знаменитый Гальба? – спросила Локуста таким тоном, словно ей было не в диковинку принимать столь могущественных гостей.

– Как? Ты меня знаешь? – спросил, нахмурившись, Гальба и, остановившись, в упор посмотрел на колдунью.

– Разве можно не знать человека, побывавшего и эдилом, и претором, и консулом, человека, который в отличие от многих сановников носит имя древнего, прославленного рода?

Видимо, Гальба был польщен этими словами. Пройдя за Локустой в комнату, он занял предложенное место на софе.

– Мое имя лучше оставить в покое. Я пришел потому, что хочу попросить тебя объяснить одно чудо.

Прежде чем отвечать, колдунья взяла его правую руку и, повернув ладонью вверх, внимательно посмотрела на нее. Потом спросила:

– О каком чуде идет речь?

– Это было пятнадцать лет назад, вблизи Тусколо...

– ...где у тебя есть вилла, – опередила его Локуста, не отрывавшая взгляда от руки собеседника.

– ...где у меня есть вилла, – продолжал Гальба, не обратив внимания на реплику Локусты. – Там я однажды повстречал гадалку, которая вот так же долго изучала линии на моей ладони.

– Она предсказала, что когда-нибудь ты удостоишься наивысшей власти в империи, – снова перебила его колдунья. Произнеся эти слова самым безучастным тоном, она подняла глаза на посетителя.

На сей раз Гальба вздрогнул и, вырвав ладонь из рук колдуньи, изумленно уставился на нее:

– Откуда ты знаешь?..

– Ох, уж мне эти маловеры... Разве я не смотрела на тайные знаки судьбы, запечатленные на твоей ладони?

– Неужели это возможно? – воскликнул Сервий Сульпиций, еще не оправившийся от удивления. – А нет ли здесь какого-нибудь обмана или надувательства?

– Какой обман? Какое надувательство? Какой может быть обман в том, что я вижу собственными глазами?

Гальба немного помолчал, на его лице промелькнула тень тщеславного самодовольства, потом он опустил голову и пробормотал:

– Все-таки странно! Очень странно!

– Странно? Но почему? Кому странно? – спросила Локуста и ответила самой себе: – Странно тому, кто не верит в могущество магии и не знает, что наше древнее искусство отражает истину!

После непродолжительной паузы она добавила:

– А теперь, если ты не против, расскажи мне, что произошло после того чудесного пророчества. Может быть, мне удастся объяснить его.

– Хорошо, – неуверенно прошептал Гальба, еще не поборовший своего замешательства. Поразмыслив немного, он вымолвил: – Тогда я не поверил гадалке и в насмешку воскликнул: «Да, я стану императором, но не раньше, чем разродится самка мула!»

– И был прав! – заметила Локуста.

– Да... вчера, пятнадцать лет спустя, в моем табуне...

– ...самка мула принесла потомство! – перебив консулARIA, заключила колдунья.

– Именно так! Все так и было! – выпалил Сервий Сульпиций Гальба и, не в силах сдержать своих чувств, вскочил на ноги.

– Значит, теперь ты сможешь поверить в правильность того предсказания!

– Почему? – резко спросил Гальба и, побледнев, уставился в бесстрастное лицо колдуньи.

– Потому что ты станешь императором. Так написано у тебя на ладони.

Воцарилась полная тишина. Дрожащие руки Гальбы, погруженного в какие-то свои мысли, выдавали сильное волнение консулАРА. Наконец он поднял голову и хрипло спросил:

– Но как, как может случиться, что...

Он хотел спросить о многом, но Локуста вновь помешала ему договорить.

– Да кому же дано понять непостижимые пути судьбы? Кто ты такой, что хочешь узнать, каким именно образом верховные боги позволят свершиться предназначенному? Разве сможешь ты предсказать, куда ударит молния? Известно ли тебе, почему среди бела дня вдруг налетает свирепая буря и сокрушает столетние деревья? Почему? Как? Человеческому разуму не дано постигнуть и сотой доли того, что происходит по воле Рока! Ты знаешь, что станешь императором, а как и когда – предоставь все это заботам Провидения.

Гальба продолжал о чем-то напряженно размышлять. Глядя прямо перед собой, он почти автоматически вытянул из своего пояса стальной крючок, на котором висел маленький пурпурный кошелек и, положив его на софу, тихо сказал:

– Не знаю, чему верить. Все это так непонятно. Во всяком случае, умоляю тебя никому не говорить о том, что произошло со мной. Ни о чудесном предсказании, ни о...

– Не бойся, несчастный ты маловер, – заверила его колдунья, – моя наука обязывает меня хранить молчание. Ты даже вообразить не можешь, что бы произошло с половиной римских матрон и патрициев, если бы Локуста стала раскрывать чужие секреты!

С этими словами она проводила смущенного Гальбу до дверей, где он распрощался с ней и покинул комнату.

Локуста вернулась на прежнее место, взяла кошелек, оставленный Сервием, и бросила его на длинный стол с алхимическими принадлежностями. Несколько монет высыпались на пол и раскатились в разные стороны.

Внезапно она вновь обернулась к дверям. Там появилась высокая, стройная женщина, облаченная в оранжевый палий, полрой которого были укутаны ее плечи и голова. Размотав край одежды, вошедшая открыла свое удивительно красивое, тонкое лицо. Это была супруга Марка Юлия Силлана. Ее черные глаза возбужденно поблескивали.

– О, почтенная Юлия Силлана! – воскликнула Локуста, склонившись перед дамой, которая держалась за щеку пальцами правой руки. – Присаживайся, я к твоим услугам. Ну как? Мое лекарство помогло? Да что с тобой? Все еще болят зубы?

Юлия Силлана опустила на софу.

– Да, моя дорогая Локуста, – сказала она, сплевывая на ковер, – мой зуб болит еще сильнее, чем раньше.

– Мне нужно взглянуть на него, – произнесла Локуста и, позвонив в колокольчик, приказала слуге: – Свет!

Когда слуга удалился, Локуста принялась перебирать на стеллаже маленькие ложечки и другие серебряные инструменты, приговаривая:

– Сначала я осмотрю его, а потом дам тебе настойку, которую приготовила специально для тебя. Ты будешь капать ее на больной зуб по шесть капель каждый день. Через двенадцать дней все пройдет.

С этими словами колдунья достала из шкафа небольшой синий пузырек и направилась к софе. Как раз в это время слуга принес прекрасный серебряный светильник с тремя зажженными фитилями и, вручив его госпоже, снова вышел из комнаты.

– Ну, показывай свои зубы, почтенная Юлия, – спросила колдунья.

Женщина запрокинула голову и открыла рот. Локуста левой рукой приподняла фонарь, чтобы рассмотреть больной зуб. Затем серебряной ложечкой, которую держала в правой руке, осторожно коснулась его. Наконец, бросив ложечку на софу и поставив светильник на ковер, она открыла синий пузырек, обмакнула в него маленький льняной тампон, заранее скрученный на кончике изящного пинцета, и накапала немного жидкости на больной зуб Юлии Силланы. Та приглушенно вскрикнула, но через некоторое время облегченно вздохнула. Локуста собрала инструменты и вместе со светильником отнесла на алхимический стол.

– Тебе лучше? – спросила она у дамы.

– О! Гораздо лучше, – ответила Юлия Силлана, расслабленно откинувшись на спинку софы.

– Вот тебе маленький фиал с лекарством, которое за пятнадцать дней навсегда избавит тебя от зубной боли, – сказала Локуста и, вернувшись к посетительнице, дала ей пузырек.

– Да подарят тебе боги счастливую жизнь! – воскликнула дама, убирая склянку в кошелёк, висевший у нее на поясе, и доставая оттуда золотой браслет с драгоценными камнями в форме змеи, кусающей свой хвост.

– Возьми, – произнесла она, протягивая украшение Локусте, – храни его на память обо мне.

Приняв браслет и поблагодарив гостью, колдунья отнесла его к столу на помосте и спросила:

– А мое зелье? Отдай мне то, что осталось.

– Кажется, оно подействовало, дорогая Локуста.

– Кажется? – нахмурившись, переспросила колдунья. – Почему кажется?

– Кажется, потому что Руф Нервилан...

– Тсс! – прошипела колдунья и тотчас добавила: – Не называй имен.

– Почему? – удивилась женщина и, испуганно оглянувшись, поднялась с софы, – нас кто-нибудь подслушивает?

– Нет, нет, – поспешно ответила Локуста, – просто это мое правило.

Юлия Силлана обвела комнату подозрительным взглядом и понизила тон настолько, что Веспасиан не мог расслышать всех ее дальнейших слов.

– Потому, что Руф Нервилан расположен ко мне, как никогда раньше. В моих объятиях он теперь так пылок... хотя все еще равнодушен к Домиции Липиде и к Мессалине, которые хотят украсть его у меня.

– И тебе этого мало? Тебе и вправду кажется, что этого недостаточно? – почти рассердившись, стала допытываться колдунья. – Неужели ты не понимаешь, что хочешь победить свойство человеческой природы, благодаря которому мужчина и женщина, влекомые друг к другу, одновременно обретают тысячу других разнообразных чувств! Кто может быть несчастнее влюбленных, желающих убить саму любовь! Неужели это тебе неизвестно? Стоит только усталости овладеть тобой и Нервиланом, как вы с безразличием отвернетесь друг от друга и будете рады разорвать узы, постылые для вас обоих. Так нужно ли огорчаться, что от любовной близости в одном человеке растёт пресыщение, а в другом, наоборот, ещё больше разжигается страсть? Говорю тебе: подчинив себе своего любовника, ты сама скоро охладеешь к нему и будешь рада найти другого, не похожего на того, кто стал всего лишь безвольным отражением твоих собственных желаний. Это ведь то же самое, что глядеться в зеркало перед тем, как идти на свидание!

– Но настоящий любовник – тот, кто всегда находит в себе новые силы, кто вечно горит огнем страсти.

– Bravo! Хорошо сказано! – подхватила Локуста, – но что же из себя представляет настоящая любовь? Каждая новая страсть всегда кажется самой настоящей, самой вечной, а потом, когда она проходит, то мы вдруг обнаруживаем в ней всего лишь легкое увлечение, мимолетную забаву. Ну, вот тебе пример. Не казалось ли тебе лет этак пять назад, что ты навеки полюбила Марка Аквиллия Юлиана? Однако не прошло и года, как в твоём сердце иссякли все чувства к бедному Аквиллию, который по-прежнему был без ума от тебя.

– Нет, с Аквиллием все было по-другому, потому что...

– Да каждый раз все бывает по-другому, хотя в конечном счёте все и всегда повторяется. Не так ли было с Гнеем Ленцием Сатурнином? Тогда ведь единственное отличие этого твоего увлечения от других состояло в том, что Сатурнин пресытился раньше тебя. Разумеется, – внезапно повысив тон, продолжала Локуста, – против такого непостоянства у нашего искусства есть немало средств, силу которых ты испытала на своём опыте. Но даже эти средства подвержены воздействию определенных флюидов, влиянию звезд, времени, места и способа их применения. Поэтому, вместо того чтобы жаловаться, тебе нужно быть благо-

дарной моему зелью и постараться доказать своему возлюбленному, что ты его любишь по-настоящему.

– Ты сначала испугала меня, – проговорила Юлия Силлана, вставая, – но теперь я чувствую в себе новые силы.

– А когда зелье кончится, отдай мне фиал. Я приготовлю тебе другую настойку, ее назначение в том, чтобы твой любовник не перестал любить тебя.

– А потом?

– Не сомневайся, потом он будет любить тебя и без всяких зелий.

– Да помогут мне боги!

– Локуста тебе поможет! – с жаром воскликнула колдунья.

Она проводила Юлию Силлану к дверям и, прощаясь, вышла с ней из комнаты. Спустя некоторое время она вновь появилась в кабинете, сопровождаемая Клавдием Тиберием Друзом, облаченным в длинную тогу, подбитую белоснежным мехом.

– Какие обстоятельства привели в мой бедный дом знаменитого Клавдия Тибе...

– Тсс! Тише! – прошептал Клавдий, испуганно озираясь по сторонам. – Ради всех богов, не называй моего имени. У меня холодеет спина при мысли, что кто-нибудь зайдет сюда. Шесть месяцев я собирался к тебе и каждый день говорил себе: «Нет, лучше пойду завтра!» Но назавтра мне вновь не хватало мужества. Потому что одно дело сказать, а другое – сделать. К тому же храбрость не относится к достоинствам образованного человека. Но, наконец, сегодня я набрался храбрости за кубком фалернского вина. И Бахус мне помог прийти к тебе. Позволь, я присяду.

– Конечно, присаживайся!

Клавдий в изнеможении упал на софу и, отирая крупные капли пота, выступившие на его багровом лице, принялся со смешанным выражением страха и любопытства рассматривать комнату и приспособления для опытов, находившиеся в ней.

– Ты мудрая женщина, по крайней мере, мне так говорили. И еще мне говорили, что на тебя можно положиться! Это правда?

– Я не знаю никого, кто мог бы пожаловаться на меня, но зато мне известно множество людей, даже таких богатых, как Лоллия Паолина, у которых есть все основания быть благодарными моему искусству.

– Да-да. Сказать по правде, я верю в алхимию, в астрологию, в медицину.

– Еще бы! – воскликнула Локуста, усаживаясь возле Клавдия. – Человек, глубоко изучивший историю и литературу, а тем более знающий, как ты, обычаи этрусков, не может не верить в истинность науки столь же древней, сколь и могущественной.

Клавдий сначала молча уставился на колдунью, а потом, потрепав ее по левой щеке, рассмеялся и сказал:

– Ты умеешь говорить. Это мне нравится!

– Благодарю, я очень рада, – произнесла колдунья и вполголоса добавила: – Чем могу быть полезной?

Брат Германика оперся на левый локоть и, придвинувшись вплотную к хозяйке дома, прошептал:

– Ты получишь двадцать золотых, – он похлопал правой рукой по кошельку, висевшему на поясе его туники, – если расскажешь правду о двух очень важных для меня вещах.

– Спрашивай – я обещаю рассказать всю правду, которая мне известна.

В это мгновение Клавдий, не меняя позы, обернулся в сторону входа. Он заметил, что Локуста внимательно смотрит в этом направлении. В дверном проеме появилась женщина, одетая в просторную люцерну орехового цвета. Новая гостья одной рукой придерживала капюшон на голове, а другой подавала какие-то знаки хозяйке дома. Приоткрыв лицо так,

чтобы его видела только Локуста, женщина изобразила одними пальцами нечто вроде знака отрицания. Это была Валерия Мессалина.

Ее поведение заставило Локусту слегка улыбнуться. Мессалина поднялась на ноги и, не глядя на дверь, сказала:

– Хорошо, я поняла!

И она удалилась. Колдунья повернулась к Клавдию и, сделав вид, что предыдущие слова относились к нему, добавила:

– Встань и подойди к тому столу.

Сопровождаемая Клавдием, она поднялась на помост и села в кресло.

– Дай мне твою правую руку, – вновь обратилась она к нему.

Грузный брат Германика с трудом отдышался после восхождения на те несколько ступенек, которые ему пришлось преодолеть, и только потом выполнил ее просьбу. Придвинув к себе светильник, стоявший на столе, Локуста принялась рассматривать линии на его правой ладони. Гость, с волнением наблюдавший за ее занятием, внимательно слушал.

– Искусство хиромантии зародилось в древности. Ты, Клавдий, изучал историю и знаешь об этом. Только глупцы да безнадежные скептики могут не видеть ее правоты. Так о чем ты хотел спросить?

– Мне нужно знать... – тут Клавдий немного замялся, – верно ли, что моя жена, Валерия Мессалина, любит меня? Не изменяет ли она мне?

– Но для этого мне нужна не твоя рука, а Мессалины, – удивленная таким вопросом, ответила колдунья. – Да и вообще, стоит ли интересоваться подобными пустяками? Будь у твоей жены любовник, чем бы она отличалась от любой другой красавицы Рима? Ведь среди них разве что одна на тысячу других предпочитает хранить верность своему супругу. Или Мессалина живет не в Вечном городе? Иногда мудрость проявляется в незнании чего-либо. Тем более – счастье. Только неведение делает человека счастливым. Чем больше люди узнают о том, что их тревожит, тем меньше счастья у них остается.

– Это верно! – пробормотал Клавдий.

– Но, думаю, известие, о котором сообщают линии твоей правой руки, должно успокоить тебя.

– О чем ты говоришь?

– О том, что Мессалина любит тебя.

– Правда? Ты уверена в этом? – воскликнул Клавдий с такой горячностью, которой трудно было ожидать от флегматичного толстяка.

– Это так же вернее как то, что ты стоишь передо мной.

– Ах! Как я тебе признателен! Да будут у тебя сто лет счастливой жизни! Это все, чего я желаю! Я знаю, что ты не обманываешь, тому есть тысячи доказательств! Она так прекрасна. Она так внимательна к моей дочери Антонии, к нашей малютке Оттавии. Моя бесценная Мессалина! Как я люблю ее! Я не могу устоять перед ее красотой! Как бы я смог жить без нее!

Клавдий ненадолго умолк, а потом задумчиво добавил:

– Ты права, некоторое неведение дает человеку счастье. А я хочу быть счастливым всегда.

С этими словами Клавдий потянул назад свою руку.

– Подожди! – воскликнула колдунья. – Ты будешь так счастлив, как не можешь даже представить себе! Вот знаки на твоей ладони. Я их вижу!

Локуста еще внимательнее присмотрелась к руке Клавдия и, наконец, медленно проговорила:

– Здесь написано, что ты удостоишься наивысшей власти!

– Молчи! – закричал дядя Гая Цезаря, приложив левую ладонь к губам колдуньи.

– Ты можешь заставить меня молчать, но никто ни в силах стереть знаки судьбы, которыми ты отмечен.

– Хорошо, хорошо, но ты все равно молчи, – с дрожью в голосе прошептал Клавдий. – Я ничего не знаю и не хочу знать! Мне ничего не нужно. Я хочу спокойно прожить свою жизнь.

Локуста отпустила руку бледного, трясущегося супруга Мессалины и пристально посмотрела на него. Этот человек, расстроенный и едва ли не озлобленный тем, что у любого другого вызвало бы чувство гордости, тщеславия или, по крайней мере, удивления, был ей любопытен.

– Как? Ты презираешь самые высшие почести, какие только доступны смертным? – воскликнула колдунья, которая пыталась понять, не разыгрывает ли ее Клавдий, и не могла поверить в то, что он не притворяется перед ней.

– Да, да, да! – в порыве отчаяния несколько раз повторил брат Германика. – Я презираю власть. Мне нужны домашняя тишина, моя библиотека и моя Мессалина, а больше мне ничего не нужно!

Он неожиданно вскочил на ноги, чуть ли не кубарем скатился с помоста и, умоляя Локусту никому не говорить о ее предсказании, а еще лучше забыть его и никогда больше не вспоминать, попятился к дверям. По пути он сорвал с пояса кошелек и, бросив его на черный стол, выбежал из лаборатории.

Колдунья последовала за ним, но вскоре вернулась в сопровождении Авла Вителлия, который сразу снял с плеч широкий темно-лиловый плащ и бросил его на софу.

– Ну? – спросил Авл Вителлий, – ты готова посмотреть мою ладонь, как обещала несколько дней назад на играх в Большом цирке?

– Сегодня ты уже приходил ко мне. Скажи, почтенный Вителлий, ты очень хочешь знать, что с тобой случится в далеком будущем?

– Да ты же сама внушила мне это желание, когда я пришел в цирк и сел возле тебя.

– Только не возле меня, а возле моей прекрасной соседки Ливии Орестиллы...

– ...и, взглянув на мое лицо, ты сказала, что я не рожден для заурядных дел. Что мне предстоят либо самые высокие, либо самые низкие поступки.

– А может быть, те и другие одновременно.

– Пусть даже так. Но разве наша вина, что нам суждено делать больше зла, чем добра? И что такое зло? Что такое добро? Где кончается одно и начинается другое? Скажи, плохо ли, что мы, никем не спрошенные, хотим того или нет, брошены в этот мир и желаем жить, а кроме того, быть радостными, счастливыми и богатыми? Скажи, если в мире есть волки и есть ягнята, то разве странно, что одним людям суждено всю жизнь дрожать, а другим – быть смелыми и решительными? Я знаю только одно зло – то, которое причиняют мне. И только одно добро – то, что доставляет мне удовольствие.

– Эта философия, Авл, не столь убедительна, сколь удобна в наше время.

– Ни один человек не может не быть человеком своего времени. Если я преклоняюсь перед Манлием Курием и Фабрицием Луцином, чья доблесть была прославлена в век добродетели и достоинства, то в Сократе или в Гае Гракхе, выставивших напоказ свое совершенство и хваставшихся им, я вижу только неисправимую порочность их эпохи.

Локуста проницательным долгим взглядом посмотрела на своего собеседника. От человека, хорошо знавшего ее, едва ли укрылась бы чуть заметная усмешка, промелькнувшая в уголках ее рта. Однако Авлу показалось, что колдунья в душе была согласна с его словами.

– Ну, как? Хочешь ты или нет составить гороскоп по этой руке? – спросил юноша, протягивая Локусте раскрытую ладонь.

– Не торопись, достойный Вителлий. Сначала мне нужно кое-что узнать от тебя.

– Спрашивай, если это так необходимо, и ты получишь любые сведения в придачу к десяти викториалам, которые приготовлены для тебя вот в этом кошельке.

– Что случилось с Тиберием Гемеллом?

– То, что случается со всеми смертными, когда приходит их последний час. Он мертв.

– Он убит по приказу императора?

– Ну... Точнее сказать, он убит по воле императора, который слишком уважает кровь дома Юлиев, чтобы оставить жить отпрыска палача Тиберия.

– Когда он убит?

– Только что. Часа два назад. Божественный Гай еще в полдень отдал приказ одному преторианскому трибуну и велел исполнить это поручение немедленно. Но безмозглый Тиберий шлялся по городу с компанией молодежи, над которой он, по благосклонности Цезаря, был назначен принцепсом. Только в шестом часу, когда он, наконец, вернулся домой, приказ был приведен в исполнение.

– Какая жестокость! – прошептала Локуста.

– Ого! Что я слышу! Верно, тебе уже надоело предсказывать счастливое будущее каждому встречному? Учти, стоит только божественному Гаю узнать об этих словах, и я без всякой хиромантии смогу предречь тебе немедленную и страшную смерть.

Авл Вителлий немного помолчал, а потом продолжал прежним беззаботным тоном:

– Ладно, только выбрось из головы намерение порицать указы или поступки самого справедливого, мудрого и предусмотрительного божественного Гая! Если угодно, вини во всем этого старого дураля, которого чернь называет Зевсом! А божественного Цезаря оставь в покое.

– Хорошо, я так и поступлю, – погрузнев, согласилась Локуста.

– К тому же этот парень умер легкой смертью: в одно мгновенье, без жалоб, без агонии. У него уже не было головы, а пульс еще был ровный.

Недолго подумав о чем-то своем, Авл Вителлий снова протянул колдунье правую руку и повторил вопрос:

– Итак? Ты будешь предсказывать мне будущее?

– Иди за мной, – ответила колдунья и стала подниматься по ступеням к столу, на котором горел светильник.

Усевшись в кресло, она минут пять внимательно изучала ладонь Вителлия. Все это время в комнате стояла тишина, не нарушаемая ни единым звуком. – Ты не лишен самых тяжких пороков... – наконец начала говорить колдунья.

– Я знал, что ты это скажешь. Но тут возможны и другие толкования: то, что ты называешь пороком, для меня может быть добродетелью, и наоборот...

– ...и все-таки здесь написано, что тебе предстоит владеть империей.

Авл Вителлий подскочил от неожиданности. Краска бросилась ему в лицо, он схватил обе руки колдуньи и растерянно спросил:

– Что?... Что ты сказала?

– Разве ты не слышал? – невозмутимо произнесла Локуста. – Я сказала, что тебе суждено быть императором.

Вителлий пошатнулся и еще крепче сжал руку женщины. Его лицо вдруг смертельно побледнело. В комнате вновь воцарилась тишина. Темно-каштановые зрачки Авла Вителлия медленно скользили от одного предмета к другому, не задерживаясь на них, словно сын Луция ничего не видел перед собой.

– Ты не лжешь? – через некоторое время обратился он к гадалке. – Ты не ошибаешься? Это действительно так?

– Да, это так. Я не лгу и не ошибаюсь. Я не могу прочесть сейчас ничего, кроме того, что написано здесь.

Вителий порывисто припал губами к рукам колдуньи и стал горячо целовать их. Потом бросился ей в ноги и, обхватив колени, стал покрывать поцелуями края ее одежды.

– Какая честь! Как я люблю тебя! Я твой слуга во веки веков. О мудрейшая из женщин! О могущественнейшая!

– Ну, ну, поднимайся. Благодарю или проклинаю не меня, а судьбу, которой так угодно. Это ею написано, что ты станешь императором, и то, что властвовать ты будешь недолго, не доживешь до старости, вместе с империей ты лишишься жизни, и смерть твоя будет страшной.

С этими словами Локуста с жалостью взглянула на юношу, который, поднявшись на ноги, выпалил на одном дыхании:

– Какая разница? Не все ли равно, от чего умереть: старости, подагры, меча или яда? Быть императором, хоть на один год – вот что важно!

Он оторвал от пояса кармазиновый кошелек с десятью викториадами и, прибавив к нему дорогой перстень, снятый им с указательного пальца левой руки, протянул колдунье:

– Возьми, почтенная Локуста! Возьми и знай, что у тебя теперь есть самый преданный друг, готовый служить тебе всю жизнь.

Спустившись по лестнице, он взял с софы свой плащ, накинул его на плечи и направился к выходу. Уже взявшись за ручку двери, он задержался и медленно произнес:

– А... это пророчество, которое я только что слышал?

Ты о нем никому не расскажешь?

– Разве я рассказала тебе, о чем говорила с теми, кто приходил до тебя? Открыла ли я тебе хоть один секрет из тех, что мне доверяют матроны, патриции и горожане, а ведь за десять лет, что я в Риме, их набралось не меньше шестидесяти тысяч!

Произнося эти слова, колдунья бросила кошелек к тем, что уже лежали на столе, и надела на указательный палец правой руки кольцо, подаренное юношей. Получив ответ на все свои сомнения, Авл Вителий еще раз поблагодарил хозяйку дома и, сияя от счастья, вместе с ней покинул лабораторию.

Тит Флавий Веспасиан еще находился во власти чувств и мыслей, вызванных столь стремительной сменой неожиданных для него событий, когда почувствовал, что кто-то взял его за руку. Вздвогнув, он спросил не своим голосом:

– Кто это?

– Это я, знаменитый эдил, твоя верная Локуста.

И после непродолжительной паузы тот же голос добавил:

– Ну как, пойдешь со мной? Не боишься?

Не оказывая никакого сопротивления, Веспасиан позволил повести себя по темному коридору, а потом ответил на ходу:

– Не отрицаю, ты мудрая женщина. Но, по-моему, у тебя получается слишком много императоров!

– Так ты думаешь, что я обманула Гальбу, Клавдия и Вителю? Что ж, сегодня я никак не отвечу на твою насмешку. Но придет время, когда меня уже не будет, а ты еще будешь жив – и вот тогда ты сам увидишь, как одно за другим сбудутся все мои предсказания.

В эту минуту они вошли в лабораторию, где колдунья принимала своих гостей. Последнему из них было любопытно увидеть вблизи шкафы с пузырьками и фиалами, анатомические модели из воска, алхимические приспособления и хирургические инструменты, которые он видел сквозь отверстие в пологе. Уже без прежней усмешки, но все еще иронически покачивая головой, эдил разглядывал просторную залу. Вдруг он замер и, словно в добавление к каким-то своим мыслям, тихо сказал Локусте:

– То, что я здесь видел и слышал, конечно, производит большое впечатление. И все-таки, искренне веря в то, что ты действительно постигла многие тайны своего ремесла, я

никак не могу избавиться от некоторых сомнений – в принципах его. Честно говоря, я не могу понять, почему оно не может обойтись без всей этой подозрительной мишуры.

– Какой мишуры? О чем ты?

– Зачем тебе все эти шарлатанские побрякушки, расставленные где попало? Я не видел, чтобы ты ими пользовалась или даже просто брала в руки.

– Знаешь, если у тебя хватит терпения зайти к другим гадалкам, которых в городе развелось великое множество, ты сможешь убедиться в простоте и даже скромности моего кабинета. А то немного, что кажется тебе в этой комнате пустой мишурой, зародилось очень давно, когда люди, кстати, имели гораздо меньше представления об излишествах, но зато лучше были знакомы с тайными силами природы. Откуда же тебе сегодня знать истинное предназначение этих предметов? Может быть, они служат совсем не тому, о чем ты думаешь!

Веспасиан молча склонил голову, а потом, не поднимая ее, потеревил правой рукой подбородок и чуть слышно пробормотал:

– Пожалуй, нетрудно рассеять сомнения у любого человека, если предсказывать каждому, что он станет императором!

– Каждому?! – удивленно переспросила Локуста. – До чего же ты несправедлив ко мне! Да за десять лет, проведенных мною в Риме, я дала подобное пророчество только однажды Гаю Цезарю, который три года назад просил составить гороскоп по его руке!

Колдунья в волнении схватила правую руку Веспасиана и, притянув его к себе, продолжила вполголоса:

– Я ему предсказала, что он будет императором, потому что так было написано на его ладони, но, зная жестокость его души, я не стада говорить о других знаках, которые ясно видела в линиях.

– Какие это были знаки? – заинтересовавшись, быстро спросил Веспасиан.

– Что он будет властвовать не больше четырех лет, что умрет молодым и насильственной смертью, – едва шевеля губами, проговорила колдунья на ухо эдилу.

Потом она неожиданно отстранилась от него и добавила уже другим тоном:

– И ты это увидишь.

Веспасиан погрузился в раздумье. Локуста продолжала:

– И еще совсем недавно, месяц назад, я предрекала империю мальчику, которого ко мне привела его мать, Альба Теренция. Это был Марк Сальвий Отон, сын консулария Луция Сальвия Отона: я сказала, что он будет править недолго и умрет насильственной смертью, так и не достигнув расцвета лет.

– Неужели сын Луция Сальвия Отона тоже будет императором? – спросил эдил, по-прежнему продолжая размышлять о чем-то.

– А сегодня случаю было угодно, чтобы ко мне пришли сразу трое из тех, кому суждена верховная власть. Но разве я виновата, что по воле рока она предстоит и Клавдию, и Гальбе, и Вителию? Или в том, что все эти люди пришли именно сегодня, когда ты стал свидетелем всего происходившего здесь? Спроси всех сенаторов, консулариев и патрициев, которые побывали в этой комнате, и ни один из них не скажет, что слышал от меня что-либо подобное.

Бледный и неподвижный Веспасиан молча смотрел себе под ноги. Если бы не дыхание, то его можно было бы принять за восковую статую. Локуста поднялась по ступенькам к столу, на котором оставила браслет, подаренный Юлией Силланой, надела его на правое запястье и, взяв в руки светильник, спустилась к Веспасиану.

– Ну, благородный эдил, на улице уже ночь, доволен ли ты увиденным? Сегодня больше никто не придет. Хочешь поужинать со мной?

Веспасиан еще немного постоял в задумчивости, потом неожиданно резко поднял голову и с видом решившегося на нечто важное человека обратился к колдунье:

- Может быть, ты составишь гороскоп по моей руке? Он протянул ей правую ладонь.
- С удовольствием! – ответила колдунья. – Только тебе придется посветить мне.

Веспасиан взял светильник левой рукой и поднял его так, чтобы свет падал на его правую ладонь. Осторожно придерживая ее, женщина указательным пальцем своей правой руки медленно провела по всем линиям его ладони. Все это время в лаборатории стояла абсолютная тишина. Веспасиан испытующе смотрел на лоб ворожеи, которая была полностью погружена в изучение таинственных линий. Наконец колдунья подняла голову и посмотрела на эдила своим долгим, как бы фосфоресцирующим взглядом. На ее губах блуждала загадочная улыбка.

- Странно! – пробормотала она.

Взяв из рук Веспасиана светильник, поставила его на пол и добавила:

- Хватит. Я увидела достаточно.

- Ну? – нетерпеливо спросил Веспасиан, лоб которого покрылся легкой испариной.

- Если я скажу тебе то, что прочитала по твоей руке, то ты мне не поверишь.

- Говори, говори, что ты там прочитала? – весь дрожа, настаивал внук государственного преступника, не отводивший умоляющего взгляда от хозяйки дома.

- Ты мне скажешь, что отсюда выходят только будущие императоры.

- Что? Так и я тоже? – воскликнул Тит Флавий. Он, казалось, был уже готов разозлиться, но вдруг осекся и произнес уже другим тоном:

- Мне это уже было предсказано!

- Твое правление будет долгим и счастливым... – начала Локуста, но тут же запнулась и спросила: – Уже предсказано? Когда? Кем?

- Три года назад я отдыхал дома в Фалакрине, недалеко от Рьети. Однажды, когда я там обедал, вдруг во двор вбежала собака, державшая в зубах человеческую руку, которую положила к моим ногам.

- Это знак того, что люди вручат тебе власть над ними и всегда будут преданы своему повелителю! – воскликнула Локуста.

- Знаешь, точно так же истолковала это знамение одна гадалка, которую я позже встретил в Фалакрине. А десять месяцев спустя там же произошел другой удивительный случай. Вол, спокойно отдыхавший на поляне, вдруг ни с того ни с сего пришел в бешенство, сломал ярмо и ворвался в триклиний, где растоптал всех моих слуг, а потом, словно пораженный чем-то, присмирел и, повалившись на землю, положил свою голову у моих ног.

- Кровавые мятежи и гражданские беспорядки омрачат твоё правление, но судьбе будет угодно сохранить тебя и твою империю.

- То же самое мне сказал знаменитый астролог Трасил!

- Так начертано на твоей ладони. Ты станешь императором не скоро, но будешь им долго, а умрешь в глубокой старости естественной смертью.

В глазах Веспасиана на одно мгновение зажглись огоньки тщеславия, но только на одно мгновение. Выдержка и воля помогли ему быстро справиться с собой и уже спокойно посмотреть на Локусту, которая продолжала говорить:

- А ведь я не знала всех этих обстоятельств. Значит, теперь ты удостоверился в правдивости моих пророчеств.

- Ты, – улыбнулся Веспасиан, – самая мудрая, самая проницательная из женщин! Я тебе благодарен, и завтра же ты получишь первое доказательство моей признательности.

- Твоя благосклонность будет моей самой желанной наградой, – ответила прорицательница, пожимая протянутую руку эдила.

Выйдя на улицу, Тит Флавий Веспасиан удивленно посмотрел на звезды, ярко сиявшие в бездонном ночном небе. Было холодно.

Глава VII. Из Байи в Поццуоли. – С богами не шутят!

Ранним утром майских ид (15 мая) 791 года яркое весеннее солнце озарило живописное побережье, простирающееся от Мизенского холма до горы Низида. В прозрачной небесной синеве не было ни облачка; свежий ветерок раздувал над морской гладью смешанный запах цветущих миндаля, олив, олеандров, персиков, абрикосов, айвы и других деревьев, вызванных к новой жизни вместе с неприхотливой ратью диких кустарников, цветов и трав.

Окружающие холмы с их бескрайними виноградниками, яблоневыми, сливовыми и оливковыми садами, между которыми белели роскошные мраморные дворцы, изящные виллы и опрятные домики крестьян, были заполнены звуками проснувшейся природы. Всюду щебетали птицы; приютившие их дриады тихо шелестели своими густыми кронами. Порой откуда-то издали доносились то лошадиное ржание, то мычанье волов, то бление коз и овец. Иногда слышалось позвякивание колокольчиков и песня пастуха, гнавшего свое стадо на пастбище.

Природа праздновала пробуждение после долгой зимней спячки. Стояла пора, когда распускаются самые дивные цветы, источая свои нежные ароматы, когда соловьи заводят восхитительно звонкие трели, когда все новые и новые ростки, наливаясь соком, пробиваются к теплу и свету. Особенно прекрасны были ранние зори: в это время душистый ковер, покрывающий землю буйными зарослями маргариток, дрока, фиалок и жасмина, так ярко блистал каплями росы, так неудержимо расправлялся вширь, и ввысь, что казалось, будто сама смерть отступила перед этим бурным натиском новой, еще пробуждающейся жизни.

По залитой солнцем консульской дороге Кампана, ведущей из Синуэссы на юг, уже давно двигались огромные толпы пешех, конных, едущих на квадригах, на двуколках, в носилках, в повозках и просто в телегах, дружно огибавших Мезенский холм и сворачивавших к Байи. К этой нескончаемой веренице присоединились богатые экипажи, прибывшие по Аппиевой дороге из Рима, и вместе с ними следовали дальше. Их пассажиры оглашали окрестности радостными криками и громким смехом. Почти все они имели при себе корзины и плетеные кошельки с провизией, с кувшинами и цидуками вина, к которым они то и дело прикладывались. Все путники были одеты в лучшие наряды, все были веселы и жизнерадостны.

Со своей стороны, Байи, пестревшие вывешенными на всеобщее обозрение коврами, яркими флагами и знаменами, выглядели не менее празднично. Все главные улицы этого старого города были украшены гирляндами цветов. Мраморные арки увиты миртом и розмарином. Повсюду красовались широкие полотнища с надписями, прославлявшими императора Гая Цезаря Августа. Почти на всех окнах были выставлены горшки с цветами или висели большие зеленые венки.

Неподалеку от гавани императорские архитекторы возвели прочные столбы, точь-в-точь такие же, какие были построены на противоположном берегу, в Поццуоли. Между теми и другими столбами протянулся мост необычайной длины и ширины, соединивший Байи с Путоланским молем. На протяжении трех миль и шестисот шагов почти вплотную друг к другу были поставлены четырехъярусные галеры, триремы и баржи всевозможных размеров, на которых покоился настил из еловых бревен. На бревнах лежал толстый слой земли, придававший упругость насыпанному сверху кремнию и травертину. Справа и слева на всем протяжении моста были сооружены деревянные поручни для безопасности тех, кто должен был ходить по нему. Через каждые пятьдесят шагов были развешаны многоцветные вымпелы. На равном удалении от обоих берегов располагалась просторная площадка с возвышавшимся над ней великолепным павильоном. Итак, Калигула осуществил свою давнюю

мечту, на воплощение которой потратил половину сокровищ, накопленных его алчным и жестоким предшественником ценой преступлений.

На берегу залива собралось не меньше тридцати тысяч зрителей. Навесы, палатки, беседки и прочие временные постройки образовали сплошную пеструю цепь. На солнце переливались красочные наряды тех, кто пришел посмотреть на грандиозное зрелище. Множество людей наблюдало за происходящим, сидя в небольших суденышках, покачивавшихся на волнах Тирренского моря. Толпа сгрудилась вокруг пышного кортежа, готовившегося переправиться через мост.

Между окончанием второго и началом третьего часа (то есть между 8 и 9 часами до полудня) в гавани Байи появился император, восседавший на прекрасном коне по кличке Инцитат. Он не спеша направился к мосту, чтобы, проскакав по нему через залив между Байи и Поццуоли, исполнить предсказание Трасила.

На Инцитате была золотая сбруя, украшенная крупными драгоценными камнями, и богатая попона из александрийского шелка, расшитая серебром и золотом. Небрежно держа поводья, наследник Тиберия горделиво поглядывал по сторонам.

Сам он очень похудел со времени вступления на престол. Его лицо, более бледное, чем год назад, теперь обрамляла короткая круглая бородка, которая в этот день была присыпана золотым порошком и казалась светлее, чем была на самом деле. Во взгляде императора, хмурого, как никогда прежде, порой мелькал тщательно скрываемый страх.

Калигула был облачен в доспехи, согласно преданию, принадлежавшие Александру Македонскому, изумительная тонкость их отделки не позволяла сомневаться в достоверности этих исторических сведений. Поверх доспехов на нем была накинута золототканая императорская мантия, усыпанная рубинами и топазами. На голове Цезаря сверкал золотой шлем, увенчанный короной из дубовых листьев. Правой рукой он сжимал длинный меч, а левым локтем придерживал маленький круглый щит, висевший у него за спиной. Рядом с ним гарцевал отличный арабский скакун белой масти, которым правила сестра императора. Дочь Германика была в ослепительно белой тунике, расцвеченной узором из сапфиров и изумрудов. Плечи Друзиллы укрывала хламида из тончайшего шелка, одетая на греческий манер. Чудесная диадема сияла на копне ее пепельных волос.

За ними следовали повозки с Агриппиной, Ливиллой, Домицией, Мессалиной, Орестиллой, Паолиной, Силланой, Цезонией и другими знатными и прекрасными матронами, которых сопровождала кавалькада консулариев, сенаторов, патрициев и римских всадников. Замыкали шествие четыре когорты преторианской гвардии и ряды легионеров, выстроенных в безукоризненном боевом порядке.

По знаку императора весь этот великолепный кортеж тронулся в путь и, предшествуемый отрядом музыкантов, заигравших триумфальный марш, ступил на мост. Звуки торжественной мелодии тотчас подхватили все остальные трубачи и флейтисты, которые на равном расстоянии друг от друга были расставлены по всему берегу; восторженные приветствия огласили воздух над заливом.

Чуть отпустив поводья, Калигула позволил Инцитату, почувствовавшему радость своего хозяина, слегка пританцовывать. Лоб императора разгладился. Впервые за последние месяцы морщины исчезли с его лица. Удовлетворение, которое он испытывал, глядя на воплощение своей мечты, слыша одобрительные крики многих тысяч собравшихся людей и заглушавшие их звуки торжественной музыки, привело Цезаря в состояние блаженства. Процессия отделилась от берега шагов на пятьсот, когда Друзилла, поглощенная созерцанием гор, дворцов, садов и виноградников, постепенно открывавшихся ей с моря, неожиданно воскликнула:

– Смотри, Гай, какой чудесный вид!

– Впечатляющее зрелище, – согласился Калигула.

– Боги благоволят к тебе, потому что...

– Горе им, если они не будут делать этого! – резко перебил ее император.

– ...потому что, – продолжала Друзилла, словно не слышавшая слов брата, – этот замечательный весенний день как нельзя лучше подходит для праздника, который ты устроил.

– О да, моя обожаемая Друзилла! За двадцать пять лет жизни я еще не видел такой чудесной весны и такого прекрасного дня!

– Это изобилие красок, эти неудержимые силы природы – они как будто хотят доказать, насколько прекрасна жизнь, насколько она могущественней, чем мрачная, бесцветная тишина смерти, которую только что победила эта проснувшаяся земля!

– О да, жизнь прекрасна! – снова согласился Гай Цезарь.

– Жизнь прекрасна... А смерть страшна! – печально произнесла Друзилла. – Когда я думаю о том, что однажды умру и больше никогда не увижу этих очаровательных цветов, этого удивительного берега и чудесного моря, что для меня не будет существовать ни музыки, ни запахов, ни света, ничего... О, я чувствую, как мурашки пробегают у меня по спине, словно я прикоснулась к холодной погребальной урне.

Но Калигула не дал ей договорить. Внезапно к нему вернулось его обычное плохое настроение, и он раздраженно воскликнул:

– Опять ты изводишь меня! Точно не можешь найти какой-нибудь менее печальной темы для разговора!

– Прости меня, Гай. Это потому, что у меня есть печальное предчувствие беды.

– Боги запрещают нам траурные предчувствия! – отрезал Калигула, нетерпеливо перебив сестру. Приблизив к ней своего коня, он добавил более спокойным тоном: – Ну, пожалуйста, не превращай в траурную церемонию этот замечательный триумфальный парад!

– Ты прав! Прости меня, Гай, – пробормотала Друзилла, стараясь улыбнуться.

Отвлечь ее от мрачных мыслей было непросто. Только употребив все самые нежные и ласковые слова, а также обращая внимание сестры то на одно, то на другое величественное зрелище, Гаю в конце концов удалось возратить ей прежнюю веселость.

Торжественное шествие продолжалось не меньше часа, прежде чем музыканты, маршировавшие впереди, ступили на берег Поццуоли. Появление императора там было встречено бурными приветствиями бесчисленных толп народа. Децимвиры и декурионы муниципия преподнесли ему гирлянды цветов и бронзовую корону, сделанную под золотую. Калигула немногословно поблагодарил горожан за их подарки и приказал авангарду кортежа следовать на огромную императорскую виллу, тянувшуюся от Поццуоли до озера в Аверно, ту самую, которая девяносто лет назад принадлежала великому оратору и философу Марку Туллию Цицерону, а позже, уже во времена Августа и Тиберия, обновлена и обустроена всем, что могло удовлетворить человеческую прихоть. По распоряжению императора на ней заранее были накрыты столы и приготовлены места для отдыха его многочисленной свиты.

Процессия снова тронулась в путь и вскоре достигла роскошной виллы, где матрон и самых знатных гостей ожидали несколько просторных триклиний, в каждом из которых стояли по три обеденных стола с девятью ложами. Таким образом, на один зал приходилось по двадцать семь человек. Однако обед начался не сразу: Калигула был вынужден принять магистратов Поццуоли, желавших представить ему одного очень старого патриция: при Тиберии тот находился в двенадцатилетнем изгнании и вернулся на родину только со вступлением на престол Гая Цезаря, помиловавшего тех, кого преследовал его предшественник-тиран. Плача и целуя руки своего спасителя, несчастный старик рассказывал о благополучном завершении долгих скитаний, когда император неожиданно прервал его, спросив:

– А что ты делал тогда, в изгнании?

– Все это время я молил богов, – ответил старик, – послать смерть Тиберию и отдать верховную власть тебе.

– О Зевс Громовержец! – вдруг, нахмурившись, грозно воскликнул Калигула.

От этого крика все вздрогнули: и оба консула, Аквиллий Юлиан и Ноний Аспренат, и префект претория Руф Криспин, и городские сановники – хотя никто, включая старика, не понимал причин императорского гнева.

– Так ты молил ускорить смерть Тиберия? – допытывался Гай Цезарь у бывшего изгнанника, чувствовавшего, как земля уходит у него из-под ног.

– И значит, то же самое делают все, – еще больше распаляясь, прокричал Цезарь, – кого прогнал я? Они дают обеты за мою смерть, надеясь на милость моего наследника!

Наступила короткая пауза. Налитые кровью глаза Калигулы пылали яростью.

– Криспин! – властно проговорил он, повернувшись к префекту претория. – Срочно снарядить гонцов во все места изгнаний и ссылок! Каждому вручить приказ о том, чтобы немедленно лишить жизни всех, кто там находится меньше года. Всех, без единого исключения!

И когда Криспин заверил, что воля императора будет исполнена, он добавил:

– Чтобы эти бездельники не помышляли о моей смерти! Глубокая тишина воцарилась в таблии, но ни один из присутствовавших не показал даже доли охватившего его смятения.

– Может быть, я не прав? – наконец выкрикнул Калигула, не выдержавший этого всеобщего безмолвия.

– Прав!

– Совершенно прав!

– Без сомнения!

Одобрительные возгласы нарушили напряженное молчание.

– Мы не только одобряем, но и благодарим тебя от имени всего римского народа, – прибавил Луций Кассий Херея, – за то, что, защищая свою драгоценную жизнь, ты заботишься о благе Республики, которая прежде всего нуждается в сохранении своей главы.

– Вот прекрасные слова, – успокоившись, произнес тиран и благосклонно взглянул на придворного.

Распроставшись с магистратами Поццуоли и со стариком-изгнанником, не перестававшим превозносить его мудрое решение уничтожить всех высланных за границу, он направился в свой отдельный триклиний, где собрались избранные гости вместе с его тремя сестрами – с Домицией, Мессалиной, Юлией Силлана. Здесь были Клавдий, Нонций, Юлиан, Веспасиан, Авл Вителлий, Фабий Персик, Марк Мнестер, Калисто, Апеллий, Криспин и Луций Херея.

За обедом начался разговор о необходимости защищать жизнь императора, о его прошлой болезни и всеобщей радости, объединившей всех римлян, когда он поправился. И кто больше всех хвастался многочисленными жертвами, принесенными богам до и после его выздоровления, так это Клавдий, который мог бы еще долго распространяться о собственных заслугах перед Республикой, если бы Калигула, сидевший рядом с Друзилой, распорядившейся за столом, неожиданно не воскликнул:

– Кстати! Почему я не вижу здесь Атания Секондо из всаднического сословия и нашего богатого плебея Публия Афрания Потита?

– Атания Секондо я видел вчера. Он должен был сопровождать шествие, – задумчиво протянул Авл Вителлий. – Сейчас он, наверное, здесь, в Поццуоли.

– А Потита я видел, когда мы проезжали по мосту. Он стоял в лодке и размахивал флагом, – добавил Луций Кассий Херея.

– Разыщите обоих. Я желаю их видеть не позднее завтрашнего утра.

Авл Вителлий и Луций Кассий понимающе переглянулись и дружно закивали головами.

– Будет исполнено.

– Мы их найдем, божественный.

Они тотчас поднялись со своих лож, намереваясь, очевидно, немедленно приступить к выполнению приказа. Император тоже вышел из-за стола. Он торопился осмотреть главные монументы Поццуоли, пока в амфитеатре не начались забеги колесниц, назначенные в его честь. Предшествуемый полукогортой преторианцев и сопровождаемый плотной толпой дам, патрициев и всадников, съехавшихся не только из Рима, но и из Мизены, Наполи, Кумы, Помпеи, Геркуланума, Байи и других окрестных городов, он пешком отправился в великолепный храм, выстроенный в коринфском ордере и посвященный Зевсу и Августу. Диумвиры поццуольского муниципия, польщенные, а еще больше напуганные вниманием их всесильного гостя, стали рассказывать ему о самых примечательных статуях и об истории храма.

– Сначала он был посвящен Зевсу Верховному.

– Это мой кузен, – перебив старшего децимвира, небрежно бросил Калигула.

– Твой... кто? – изумленно переспросил децимвир, но, опомнившись, быстро исправил свою ошибку.

– Ах да! Разумеется, Зевсу, твоему кузену, а потом он был посвящен твоему прославленному предку Августу.

– Так уже и прославленному, – раздраженно вновь перебил его Калигула. – Это ли настоящая слава? Это ли настоящее величие?

На сей раз децимвир замешкался с ответом, не зная, что сказать. Он так и замер с открытым ртом, в глазах его застыло затравленное выражение. В голове у него был невообразимый хаос, в котором невозможно было разобраться. С одной стороны, бедняге казалось, что Цезарь мог говорить так, желая испытать его на верность Августу, своему предку – тогда соглашаться было опасно, с другой стороны, противоречить агрессивному самолюбию императора было еще опаснее, и наконец, принцепс мог иметь в виду недостаточность прославления знаменитого Октавиана неблагодарными поццуольцами. В этом случае нельзя было бы ни соглашаться, ни противоречить, а нужно было как-то изворачиваться. Несчастный не находил выхода из создавшегося положения и, чувствуя, как затягивается пауза, приходил в еще большее отчаяние. Холодный пот выступил у него на спине.

– По-твоему, я не прав? – нахмурившись, спросил Калигула.

– Не прав? – совсем растерявшись, переспросил злосчастный децимвир. – Как я могу сомневаться, божественный Цезарь, как я смею?

Больше он не мог вымолвить ни слова.

– Да, Августа сейчас превозносят. Но в чем его заслуги? Уже забыты обманы, преследования, проскрипции и другие злодеяния, которые он совершил, чтобы получить верховную власть. Уже никто не вспоминает, как он был хитер, как водил за нос Ливию, этого Улисса в женском платье! Никто не упрекает его в старческом слабоволии, хотя в последние годы правления он позволил трусливой, коварной и алчной аристократии – этому вампиру, сосущему кровь бедных плебеев, заражающему все общество, – поднять голову настолько, что Тиберий, мой знаменитый, великий предшественник – вот кто был поистине велик! – вынужден был огнем и мечом исцелять государство. Нет, нет, дорогой децимвир! По-моему, Август пользуется незаслуженной славой. Он был всего лишь зазнавшимся шутом, которого окружали толпы глупцов и подхалимов.

В переполненном храме стояла гнетущая тишина. Помолчав, Калигула добавил:

– Мой вам совет, децимвиры: разбейте голову на этой статуе Августа и замените ее другой.

– Неужели они не догадываются, что им нужно сделать? – вдруг пробормотал либертин Калисто.

– Да, да, богоподобный Цезарь! Мы изваяем твою голову и поставим на это место! – подхватил децимвир с такой поспешностью, с какой утопающий хватается за соломинку.

– Благодарю тебя, мой верный Калисто. Спасибо, дорогой децимвир. Да... Я думаю, что мне не следует отказываться от божественных почестей. Если бы мои подданные вспомнили о том, как много я успел совершить всего за один год правления, если бы подумали о том, что я еще смогу сделать для Рима, для империи, для всего мира, то они еще месяц назад должны были построить для меня и алтари, и жертвенники! О неблагодарные, видно, ваши головы так же безмозглы, как кусок камня на этом истукане! Так пусть его судьба станет хорошим напоминанием любому, кто не видит моего превосходства над всеми смертными, даже над императорами!

И, наклонившись к Калисто, он двумя пальцами ущипнул его за щеку, а потом сказал:

– Я знал, как ты меня любишь, как ты проникателен, но я не подозревал, что среди ста тридцати миллионов моих подданных найдется хоть одна признательная душа! Я дарю тебе весь доход имперской казны в провинции Целесирия.

– Благодарю тебя, мой божественный повелитель, – проговорил Калисто, целуя руку Калигулы, – но я просто лучше других знаю твои достоинства и потому не прошу награды за свои слова.

– Я все же вижу, дорогой Калисто, и хотя ты не просишь, я даю!

– Они говорят о каких-то пустяках! – прошептал Авл Вителлий на ухо Луцию Кассию. – Подумаешь, всего-то несколько миллионов сестерциев!

– И почему мне в голову не пришла та же идея, которую так ловко использовал этот отъявленный плуг Калисто? – отозвался Луций и от досады прикусил нижнюю губу.

После посещения храма Зевса и Августа император осматривал храмы Юноны Устроительницы Браков, Нептуна и Дианы.

Покидая последний из них, Калигула задержался на мраморной лестнице и, повернувшись к консулам Аквиллию Юлиану и Нонию Аспренату, произнес:

– Мне кажется, почтенные консулы, наступило подходящее время провозгласить в сенате решение об обезглавливании всех изваяний в храмах империи. Вернувшись в Рим, вы должны будете заставить это собрание вымогателей искупить их пороки и принять закон, обязывающий водружать мою голову на статуи бывших богов.

– Да будет так! – в один голос воскликнули оба консула.

– Еще я думаю, – продолжал принцепс, спускаясь по лестнице, – установить особый культ моей божественности.

– И правильно сделаешь!

– Какая мудрая мысль!

– Достойнейшее решение!

– Как ты благороден!

– Как ты великодушен!

Эти и похожие славословия не утихали все время, пока император, не обращавший никакого внимания на волнение своей свиты, шел в амфитеатр. Придя туда, он взойшел на убранный пурпуром и золотом помост императорского подиума, а когда улеглись шумные аплодисменты, вызванные его появлением в цирке, произнес, обращаясь к Друзилле:

– Ну, любимая, теперь ты повеселишься.

И, дав децимвирам знак к началу бегов, он крикнул окружающим:

– У кого есть восковая дощечка и стило?

– У меня! У меня! – раздалось сразу несколько голосов, и к Калигуле тут же протянулись пять или шесть рук, предлагавших письменные принадлежности.

Повернувшись спиной к публике, он оглядел помост, на котором собрались сенаторы и консуляры, и стал что-то писать на дощечке. Вся свита с недоумением и страхом уставилась на стило и на странную улыбку, появившуюся на его губах.

Наконец он поднял голову и сказал:

– Все вы, конечно, знаете, с каким интересом я слежу за всеми бегами колесниц и квадриг. Знаете вы и то, что среди четырех групп, участвующих в заездах, зеленые всегда вызывают у меня наибольшее сочувствие. С другой стороны, мне известно, что вы равнодушны к цирковым скачкам. Что ж, наверное, пришла пора возродить былую славу этих замечательных состязаний, которые на знаменитых Олимпийских играх давали возможность отличиться самым благородным греческим юношам. Разумеется, престиж наших забегов смогут поднять не безродные возничие, а только самые именитые граждане Рима, которым посчастливится выступать в соревнованиях. Почтенные сенаторы! Сегодня вам предстоит доказать, что лень и другие пороки еще не окончательно развратили вас. Итак, вы будете участвовать в этих забегах.

Казалось, еще немного – и раздадутся возражения: какой-то неодобрительный шорох, хотя и не более громкий, чем шуршание таракана, пополз по подиуму.

– Что?! – грозно блеснув глазами, крикнул Калигула.

Все затаили дыхание.

– Я сказал! – еще больше повысил тон император.

И после непродолжительной паузы добавил:

– Вот список сенаторов, которые выйдут на арену после первого заезда: Гай Меммий Регул, Луций Фульциний Тир, Луций Помпоний Секондо, Марк Фурий Камилл, Фаусто Корнелий Силла, Паоло Фабий Персик, Луций Сальвий Отон, Гней Ацерроний Прокул, Гай Порций Негрин, Секст Папиний Гальан, Гай Цестий Галл, Марк Сервилий Гемин, Луций Луциний Ларг, Марк Анний Минуциан, Тит Статилий Тавр, Тавр Статилий Корвин.

Все сенаторы, названные Цезарем, находились среди пятидесяти или шестидесяти избранных гостей, сидевших на пульвинарии. Но из всех них, бледневших или принужденно улыбавшихся при мысли о том, что их громкие имена будут чем-то вроде дополнительного развлечения для презируемой ими публики, из всех них, не представлявших более позорной участи, чем та, которая их ожидала, из всех них единственным человеком, – к счастью, не замеченным Калигулой, – возмущенно протестовавших против подобного глумления, был Марк Анний Минуциан. Только выразительный жест Веспасиана, сидевшего рядом с ним, удержал его от отчаянного и опрометчивого поступка. Первые двенадцать из этих сенаторов уже побывали консулами. Многие были преклонного возраста, некоторые страдали старческими заболеваниями. И несмотря на это, все они, кто молча потупившись, кто с наигранным удовольствием, поднялись на ноги, демонстрируя свою готовность исполнить волю тирана, который тем временем повернулся к децимвирам Пуццуоли и сказал:

– Проводите этих знатных особ в конюшни, оденьте их соответствующим образом, дайте лучших скакунов и квадриги. Они будут выходить на арену четыре раза, в каждом заходе по четыре человека. Затем победители будут состязаться между собой. Тот, кто выиграет все соревнования, получит от Гая Цезаря халцедоновую чашу стоимостью в шестьсот пятьдесят тысяч сестерциев.

Затем, обращаясь к шестнадцати патрициям, он добавил:

– А вы, уважаемые граждане, докажите свою верность императору.

И когда консуляры начали спускаться с подиума, Калигула произнес, обращаясь к децимвирам:

– Эй! Почтенные децимвиры, позаботьтесь о том, чтобы после окончания первого заезда глашатаи зазывали всех желающих посмотреть, как шестнадцать именитых сенаторов и консуляриев будут править квадригами.

Сказав это, он целиком отдался созерцанию зрелища. Оживившись, стал громко подбадривать возницу Прассины. Очень скоро он настолько вошел в азарт, что, перегнувшись через парапет, закричал во все горло:

– Ну, смелее! Давай! Давай! Цезарь с тобой!

Он отмахнулся от Друзиллы, которая упрекнула его в несдержанности, непристойной для императора, и воскликнул:

– Не болтай глупостей! Цезарю все пристойно! Цезарь выше всяких приличий!

К его немалому огорчению, зеленые проиграли, а победил возничий Альбаты.

– Ура! Да здравствуют белые!

«Да здравствует Альбата!», «Вива Альбата!» – закричали тысячи зрителей, поставивших на лошадь-победительницу, к которым присоединились те, кто заключил пари на Пурпурную или Турчанку и, проиграв его, хотели немного поддразнить императора.

Взбешенный таким явным неуважением к себе, он принялся проклинать горожан и угрожать им веревкой, называя их сборищем трусов и подлецов, избежавших поединка с противником.

– Эй, вы, – наконец, рассвирепев, приказал он своему окружению, – уберите полог!

Луций Херея, Протоген и Авл Вителий поднялись и направились за слугами, которым предстояло поднять большой навес над цирком, Калигула нетерпеливо прикрикнул:

– Быстрее! Немедленно поднять этот занавес! Зрелище начинается!

Мрачный, как туча, он устроился между сестрами, приговаривая:

– Сейчас вы у меня вспотеете! Сейчас вам будет жарко. Но не только от солнца, висельники несчастные!

И вдруг, ударив кулаком по барьеру, воскликнул:

– Ах! Ну почему у этого народа нет такой шеи, чтобы можно было перерубить ее одним ударом!

Вскоре протрубили глашатаи, объявившие, что в следующем заезде квадригами будут править шестнадцать сенаторов и консулариев. Это неожиданное известие было встречено долгими и всеобщими аплодисментами.

– Хлопайте! Хлопайте, стадо выючных мулов! Я мог бы вас всех высечь в кровь, всех, одного за другим! – сквозь зубы пробормотал Калигула.

В эту минуту пришли в движение деревянные блоки, смоченные водой, и на них стали медленно накручиваться канаты огромного тента, под которым тысячи людей скрывались от полуденного солнца; цирк охватило смятение: раздалось улюлюканье, свист и проклятия возмущенных зрителей.

Ожесточенно жуя несколько колосков, предложенных Ливией, Калигула процедил:

– Свистите, орите, бездельники. Все равно солнышко вас поджарит.

Мессалина, сидевшая дальше всех, у бокового ограждения императорского пульвинария, к которому она прислонилась спиной, не сводила своих томно сияющих глаз с Калисто, молодого и привлекательного либертина Калигулы. Сначала юноша старался не придавать значения ее красноречивому взгляду, слишком невероятным казалось ему предположение, что прекрасная жена Клавдия может снизойти до него. Однако мало-помалу настойчивость очаровательной матроны тронула его пылкое сердце, и он исподволь стал отвечать ей столь же нежными и выразительными взглядами. Взгляды становились все более обещающими и уже сменились ласковыми улыбками, когда трубачи возвестили о начале нового заезда.

Предстоящее зрелище никого не оставило равнодушным. Раздражение императора и возбуждение публики улеглись, словно по сигналу трубы, и теперь все внимание присутствовавших в цирке сосредоточилось на воротах конюшни, где должны были появиться первые четыре повозки. После некоторой заминки из четырех отдельных загонов выехали четыре квадриги разного цвета.

На зеленой, запряженной четверкой рослых гнедых коней, находился Луций Лициний Ларг, самый молодой и искусный наездник среди шестнадцати несчастных участников представления. Одежда его была тоже зеленого цвета, кожаный капюшон, покрывавший голову, по обычаю возниц был обвязан венком из плюща. Белой квадригой, запряженной четырьмя

испанскими скакунами черной масти, правил Паоло Фабий Персик. Его лицо почти сливалось по цвету с белой туникой, которую он кое-как напялил на себя. Затравленно озираясь, знаменитый ростовщик походил на индюка, угодившего в силки. Пурпурный цвет после розыгрыша достался сенатору Аннию Минуциану, яростно скрежещавшему зубами, но крепко сжимавшему в правой руке поводья белых сицилийских жеребцов. На квадриге венецианского, а иначе говоря, голубого цвета, показавшейся вслед за четверкой норовистых пегих кобыл, стоял старый сенатор Папиний Гальбан, который, казалось, был больше всех обескуражен и напуган своей новой ролью.

Едва покинув загоны, разгоряченные скакуны стали бить копытами землю и рваться с места. И если Минуциан и Лициний крепко сжимали поводья своих коней, то возницы на квадригах Венета и Альбата сами не могли справиться с лошадьми, которых, помогая наездникам, держали под уздцы служители цирка. Наконец, четыре повозки выстроились перед белой стартовой лентой, прозвучал сигнал – и в тот же миг все шестнадцать скакунов, подгоняемые криком толпы, вихрем понеслись по арене.

Лишь ценой невероятных усилий Паоло Фабия Персику и Сексту Папинию Гальбану удалось не выпасть из колесниц. С трудом держа равновесие и думая только о том, как сохранить собственную жизнь, они дали полную свободу лошадям, тогда как экипажи Прассины и Пурпурной мчались быстрым галопом, послушны воле возничих. Между возничими, однако, существовало серьезное различие: если Минуциан, с хладнокровным бешенством сжимавший вожжи, был решителен и тверд, то Лициний Ларг не переставал нервно подстегивать коней, стремясь во что бы то ни стало выиграть состязание и вернуть расположение Калигулы.

Под громкий смех императора и всех зрителей, с улыбками наблюдавших за двумя шатавшимися из стороны в сторону сенаторами, Паоло Фабий Персик, доведенный в конце концов до отчаяния бешеным темпом этой гонки, вдруг выпустил вожжи из рук и повалился на колени, стараясь удержаться в квадриге. Но не успели четыре повозки закончить первый из предстоявших шести кругов, как его неуправляемая Альбата столкнулась с летевшей во весь опор Прассиной и опрокинулась, чуть не разлетевшись вдребезги от удара. Обезумевшие кони с удвоенной скоростью рванулись вперед, волоча за собой никем не подхваченные поводья, а на помощь сбитому и до полусмерти затоптанному Персику со всех ног бросились служители цирка.

Так случилось, что в вожжах, тащившихся по земле вслед за четверкой испанских коней Альбаты, на втором круге запутались пегие кобылы голубой квадриги, которая сразу опрокинулась и едва не накрыла собой сенатора Папиния Гальбана, по счастливой случайности отделавшегося переломом ключицы и чудом избежавшего верной гибели под копытами разъяренных скакунов Прассины, готовой выйти на третий круг. Почти вровень с Прассиной неслась пурпурная квадрига Анния Минуциана. Вскоре служители цирка и стремянные отловили восемь беспризорно бегавших лошадей с волочившимися за ними поводьями. Теперь только две повозки остались невредимы. Под громкие рукоплескания публики они уже пошли на четвертый круг, как вдруг Минуциан с невероятной силой дернул вожжи, круто повернув своих жеребцов, на полном скаку направил их прямо на стену подиума, мимо которого стремительно неслись его экипаж. Через мгновение бедные животные насмерть разбились о мраморную стену. Но не успели они безжизненной грудой свалиться перед ней, как наездник, с ловкостью гимнаста сделавший сальто назад, уже стоял на обеих ногах на земляной арене цирка. Почти всем зрителям этот инцидент показался случайным, и в цирке раздались дружные аплодисменты возничему, не растерявшемуся в опасной ситуации.

Однако Калигула, смеявшийся, как сумасшедший, над трагическими неудачами Персика и Гальбана, видел из пульвинария все подробности последней катастрофы. Приведенный в бешенство поступком кучера пурпурной квадриги, к действиям которого никто не мог

придраться, он разразился проклятиями и самой отборной руганью в адрес своевольного сенатора.

Минуциан возвратился к загонам, и трубачи просигналили об окончании заезда. Квадригой-победительницей децимвиры объявили Прассину.

Вскоре музыканты, расставленные на ступенях амфитеатра, заиграли снова. В цирке опять слышались насмешки, ехидные замечания и громкий свист. Все последующие заезды, в ходе которых бледные, трясущиеся от страха консуларии выпускали поводья из непослушных рук, опрокидывали повозки, сталкивались друг с другом и падали под копыта лошадей, были непродолжительными. Порций Негрин и Цестий Галл ушли с пробитыми головами, Сервилий Гемин сломал руку, остальные отделались сотрясениями или ушибами.

В них без особых трудностей победителями стали Лициний Ларг, возничий Прассины, Фульциний Тир, наездник Альбаты, Сальвий Отон, водитель Венеты и Статилий Тавр, который в четвертом забеге выступал на Прассине. Таким образом, в скачках на первый приз участвовали четыре сенатора, и, к великой радости императора, у Прассины были двойные шансы на успех. На этот раз дело пошло лучше: квадриги мчались по арене, полностью подчиняясь воле ездоков, и к концу шестого круга – то ли по счастливому стечению обстоятельств, то ли по тайному уговору между четырьмя патрициями – Лицинию Ларгу удалось выйти вперед, обогнав Статилия Тавра. Победа зеленых доставила немалое удовольствие Калигуле и зрителям, шумно приветствовавшим Прассину, Лициния и Тавра. И, едва фанфары возвестили о завершении бегов, как Калигула, сияя, точно он был победителем этих соревнований, проговорил:

– Ну вот я и провел еще одну полезную реформу. Теперь вместо платных кучеров и безродных плебеев на скачках будут выступать патриции и сенаторы.

Так уже под вечер закончились игры, и через некоторое время Калигула вернулся на виллу, где был приготовлен роскошный пир для восемнадцати знатных дам, сорока двух избранных патрициев, двенадцати мимов и шутов, а также для Протогена, Апелла, Марка Мнестера, Авла Вителия, Луция Кассия, Калисто и Дария, сына парфянского царя, который находился при дворе Калигулы как почетный посланник мира, заключенного монархом и подписавшим его от имени императора проконсулом Сирии Луцием Вителием Непотом. В течение всего ужина, начавшегося в час континция (десять после полудня) и продолжавшегося до середины галлиция (час ночи), в триклиях стояло шумное веселье, порой переходившее за рамки приличия. К разгару застолья гости уже до упаду хохотали над непристойными песнями и разнузданными выходками актеров, делали соседям двусмысленные предложения и вообще позволяли себе то, что никогда не допустили бы в собственном доме. По столам кочевала огромная халцедоновая чаша с фалернским вином, в котором плавали розовые лепестки. В доме творилась полная неразбериха: все стремились перекричать друг друга, но никто никого не слышал и, казалось, не видел.

Клавдий мирно похрапывал прямо на мозаичном полу, где об него то и дело кто-нибудь спотыкался.

Мессалина же не только не была пьяна, но и в отличие от остальных дам в течение всей оргии почти не притрагивалась к вину и сохраняла необычное для нее спокойствие, что заметил даже Калигула и чему еще больше удивился Марк Мнестер, которому уже несколько месяцев старалась понравиться Мессалина. Впрочем, актер не придавал никакого значения ее нынешней холодности, приписав ее поведение странностям женского кокетства.

Что было на уме у Мессалины? Весь вечер она не сводила глаз с Калисто. Может быть, этой строгостью и даже неприступностью среди всеобщего разгула она хотела убедить юношу в лживости слухов о ее пороках и распущенности? Казалось, своим глубоким взглядом она предлагала любимцу императора сравнить ее с другими придворными дамами и удостовериться в том, что ее захватило не кратковременное сладострастное желание, а

настоящее, благородное чувство. Конечно, Мессалину трудно было представить невинной скромницей. Но может быть, в глубине души именно такой она и была? Недаром, когда Калисто осмелился приблизиться к этой женщине, сидевшей в одиночестве и словно не замечавшей безумия, которое царило вокруг, она предложила ему занять свободное ложе возле себя и сказала, что в самом начале пира ее покинули Гней Домиций Энобарб и Луций Априний Цезоний, ее соседи по застолью.

– И поэтому ты так печальна среди всеобщей вакханалии? – спросил Калисто.

– Это тебя удивляет, не правда ли? Скажи откровенно, Калисто, ты ждал чего-то иного? Да, я знаю, что говорят обо мне. Каждый мой жест и даже взгляд вызывает кривотолки и порицание. За те три года, что супружескими узами соединяют меня с Клавдием, я не сделала ни одного шага, который не был кем-нибудь прослежен и пересказан так, словно я ничем не отличаюсь от других римских матрон или даже хуже их всех. Но я и в самом деле ничуть на них не похожа!

– О да! Ты лучше! И гораздо красивее!

– Ты мне льстишь, добрый Калисто. Но не говори так. Я не Гай Цезарь и не смогу вознаградить тебя доходом от какой-нибудь провинции.

– Ох! Если ты захочешь, то сможешь подарить мне во много раз больше, чем одну несчастную область, – дрожащим голосом произнес юноша.

– Во имя Геркулеса! – с неподдельным изумлением, которое граничило с подозрительностью, воскликнула матрона. – И где я найду тебе такую империю?

– Она в тебе самой! Если бы я смог вызвать в тебе хоть десятую долю того, что сам чувствую, я бы обладал самой великой империей – твоим сердцем, божественная Мессалина!

– Увы, Калисто, эта империя уже завоевана.

– Неужели нельзя свергнуть с престола, – поникнув головой, проговорил Калисто, – того, кто захватил ее, даже не зная истинной цены своих владений?

– Ох, Калисто, Калисто! – грустно вздохнув, ответила Мессалина, – и ты тоже! Ты такой же, как все!

Калисто промолчал.

– Ты мне казался другим, – мягко продолжала супруга Клавдия. – Глядя в твои голубые глаза, такие чистые и нежные, я думала, что вижу зеркало своей души. Я представляла тебя иначе. Мне чудилось, что ты, просвещенный, как все греки, способен понять ту возвышенную, благородную взаимосвязь двух навеки разлученных душ, которую так поразительно описал ваш философ Платон.

– О да, когда я нахожусь возле тебя, когда слушаю чарующую музыку твоей речи, пронзающую мое бедное сердце, то понимаю, что такое родство двух душ, хотя не мог этого постигнуть в чересчур строгом учении Платона. Да, в твоих устах эта небесная гармония звучит гораздо яснее, чем в книгах великого афинца!

Трудно было сказать, чем вызван был такой эмоциональный порыв юноши: диалогами его знаменитого земляка, рассуждениями женщины на метафизические темы или красотой, пленившей его? Во всяком случае, он говорил искренне.

– Неужели мы, люди, – всего лишь соединение нервов, мускулов и крови? – продолжала Мессалина, старавшаяся говорить нежно и ласково. – Неужели нами движет то же самое, что и всеми остальными живыми существами? Точно мы звери, рыскающие по земле в поисках добычи и не способные распрямиться, чтобы, подняв голову, ощутить беспредельную высоту чистого голубого неба, увидеть лучезарный свет божественных светил? Неужели нами правят только животные инстинкты? И нам не дано слышать таинственный и древний зов, повелевающий преодолеть земную обыденность, этот кошмарный сон, от которого только один-единственный раз удастся очнуться и вступить в неизведанные, божественные области бытия?

– Да! Да! Это чувство есть во мне, и оно крепнет от твоей божественной эманации, от созерцания твоей олимпийской красоты! – воскликнул молодой грек, воспламенившийся от слов Мессалины. – О, почему мне не дано обладать хотя бы половиной твоих душевных сокровищ!

Калисто умоляюще сложил руки. Глаза его, казалось, наполнились слезами, готовыми вот-вот брызнуть. В свете ярко горевших светильников весь его облик казался воплощением юной мужской красоты.

– Кто знает! – после некоторого молчания произнесла жена Клавдия. – Кто знает, Калисто! Может быть, ты убедил меня. Не скрою, моя душа притягивается к тебе.

– О! Боги позволят мне доказать неподдельность того чувства, которое я питаю к тебе! О моя божественная синьора! Я чувствую себя златокрылой бабочкой, летящей на свет твоих очей!

В суматохе никто не обращал внимания на двух влюбленных. Соскользнув с ложа, Калисто опустился на колени перед Мессалиной и припал губами к ее сандалиям. Потом поднял голову и прошептал еле слышно:

– Умереть у твоих ног! Умереть за тебя!

– Встань, прошу тебя! Встань, пока никто не увидел, – с возмущением, но скорее наигранным, чем искренним, воскликнула супруга Клавдия. Схватив ладонь либертина, она усадила его рядом с собой.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.